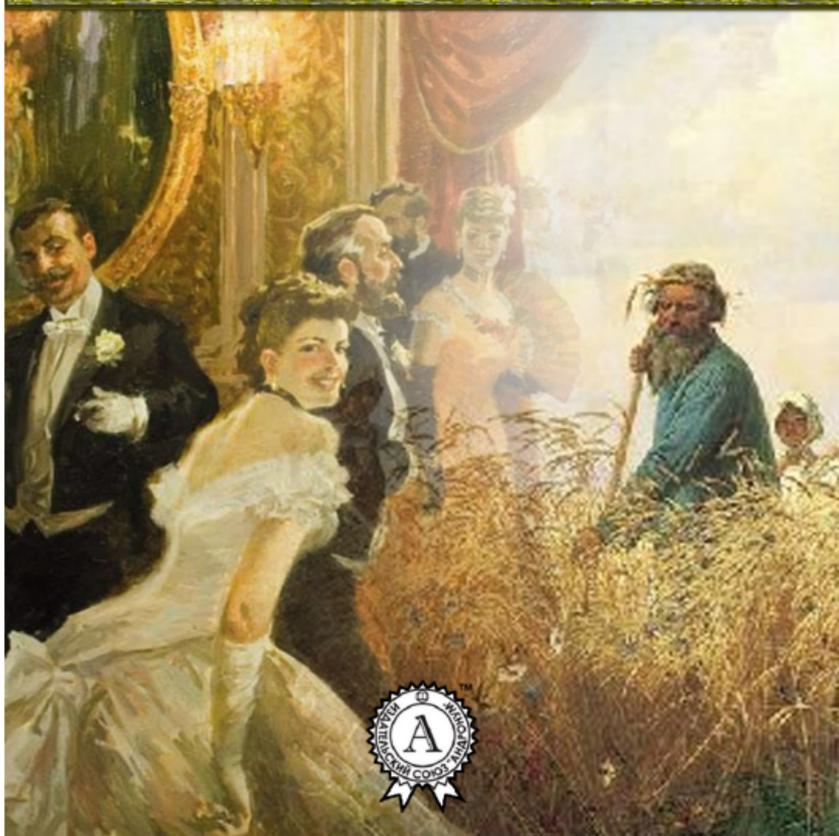


Д. В. Григорович

Пахатник и бархатник



Дмитрий Васильевич Григорович

Пахатник и бархатник

«Пахатник и бархатник» – повесть талантливого русского писателя-реалиста Дмитрия Васильевича Григоровича (1822 – 1900).*** В этом произведении автор сравнивает жизнь двух людей из разных социальных классов. С одной стороны – сельский пахарь Карп, который трудится с утра до ночи и все равно едва выживает, а с другой – молодой житель Петербурга Аркадий Слободской, привыкший к роскоши и светским развлечениям... Известность Д. Григоровичу принесли произведения «Рыбаки», «Переселенцы», «Два генерала», «Гуттаперчевый мальчик», «Петербургские шарманщики», «Лотерейный бал», «Театральная карета», «Карьерист». Дмитрий Васильевич Григорович стал знаменитым еще при жизни. Сам будучи дворянином, он прославился изображением быта крестьян и просто бедных людей.

Содержание

#1	0006
ГЛАВА ПЕРВАЯ ПАХАТНИК	0007
I	0007
II	0010
III	0012
IV	0014
V	0018
VI	0021
VII	0025
VIII	0029
IX	0033
X	0038
XI	0041
XII	0045
XIII	0048
XIV	0055
XV	0062
XVI	0065
XVII	0068
XVIII	0071
XIX	0074
XX	0077
XXI	0082
XXII	0085
XXIII	0092

XXIV	0095
XXV	0100
XXVI	0103
XXVII	0106
XXVIII	0111
XXIX	0114
ГЛАВА ВТОРАЯ БАРХАТНИК	0119
XXX	0119
XXXI	0125
XXXII	0127
XXXIII	0130
XXXIV	0135
XXXV	0138
XXXVI	0144
XXXVII	0148
XXXVIII	0153

Дмитрий Григорович
ПАХАТНИК И БАРХАТНИК
Повесть

Не будет пахатника, не будет и бархатника.

Русская пословица

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПАХАТНИК

I

Такого продолжительного, нестерпимо жаркого лета не могли запомнить даже самые старые люди. С половины июня до конца июля ни разу не освежило дождем воздуха; раскаленная земля трескалась, превращалась в камень или пыль, которая лежала тяжелым рыжеватым пластом на дорогах. Каждое утро солнце восходило багровым шаром и, подымаясь выше в сверкающем, безоблачном небе, совершало свой круг, никому не давая отдохнуть от зноя. Все живущее словно умаялось и повесило голову. Цветы, не защищенные лесом или тенью рощи, пересохли; горох пожелтел преждевременно; проходя полем, слышно было, как лопались его стручья, рассыпая, словно дробь, свои зерна. Трава, скошенная утром, начинала к полудню пучиться, подымалась ворохом и звонко хрустела, когда брали ее в руки. Стада упорно жались к

ручьям и речкам; во всякое время дня коровы и лошади по целым часам недвижно стояли по брюхо в воде; можно было бы принять их за окаменелых, если б не двигали они хвостами, стараясь отогнать мух и оводов, которые роями носились и жужжали в воздухе.

Во всей природе, которая как будто изнемогала и тяжело переводила дыхание, одни насекомые бодрствовали; чем горячее жарило солнце, тем больше их появлялось и тем громче раздавались жужжанье и шорох. Там, где полуиссохшие ручьи впадали в речки, роями стояли коромысла, блистая на солнце своими кисейными глянцевыми крылышками и зелеными, словно стеклянными головками; запыленные шмели и бесчисленные миллионы всяких мух и мошек облипали каждого, кто только останавливался.

В полях весь этот шелест заглушался трескотнёю кузнечиков; из-под каждой травки, из-под каждого стебелька, немолчно дребезжал тот жесткий, металлический звук, который всегда как бы дополняет впечатление страшной засухи; в сырое время кузнечик поет не так звонко. В полях часам к двум-трем

пополудни зной особенно был чувствителен. Солнечные лучи, насквозь пронизывая рожь до корня, нагрели, казалось, самые стебли; даже там, в глубине колосьев, бросало в испарину; чувствовалось, что пышет от почвы, как от жерла раскаленной печки. Васильков совсем не было; они давно пересохли, оставив тощие зеленоватые стебли; одна повилика, туго оплетая подошву колосьев, разливала в воздухе тонкий миндальный запах и пестрила своими бело-розовыми колокольчиками жаркое, лучезарное сиянье, наполнявшее глубину поля.

Несмотря, однако ж, на удушливый зной, от которого сохло в горле и потом обливало тело, все пространство поля покрыто было народом, куда ни обращались глаза, отягченные солнечным сверканьем, всюду над морем колосьев мелькали, то опускаясь, то подымаясь, белые рубашки баб; перегнув в три погибели спину, прикрытую мокрой сорочкой, они вязали снопы; мужья их, отцы и братья выступали между тем один за другим, звонко размахивая косами.

Работа кипела; время было такое, что нельзя было ни на один час отложить покоса; благодаря жаркому июлю, едва успели откоситься и убрать сено, как рожь поспела; там совсем уже налился и дозревал овес – того и смотри сыпаться станет. Изредка останавливался тот или другой работник, отирал рукавом загорелый лоб и принимался точить косу, издававшую при этом сухой, острый звук, вторивший как нельзя лучше дребезжанью кузнечиков. Изредка та или другая баба разгибала спину, оглядывалась и торопливо на-

правлялась выпить кваску из серого кувшинчика, спрятанного в укромном месте, или шла к люльке, скрывавшей ребенка. Но едва мать успевала раскрыть холстяной полог люльки, едва припадала грудью к губам младенца, голос старосты снова призывал ее к работе.

– Эй, бабы, бабы! – покрикивал он, являясь то тут, то там, – что-то уж больно часто бегае-те! Покормили раз-другой – и шабаш! Главная причина, не надо бы вовсе таскать с собою ребятшек – вот что! Оставляли бы дома лучше старухам да бабкам!..

– Хорошо, Гаврило Леоныч, коли есть такие, – возразила молоденькая живая бабенка, – коли не на кого оставить, поневоле тащишь...

– Все же так часто бегать не приходится, – возразил староста. – Говорю: покорми раз-другой – и шабаш!.. Ну ступай, ступай, полно разговаривать!.. – довершил Гаврило Леоныч, направляясь в другую сторону.

Немного погодя посреди звяканья кос и шума падающей рядами ржи голос его раздавался на дальнем конце поля.

В голосе этом не было, впрочем, ничего повелительного или грозного; с появлением старосты никто не бросал в его сторону боязливых взглядов. Косы, правда, начинали скорее двигаться, и бабы усерднее принимались вязать снопы, но это, очевидно, происходило не столько от страха, сколько от жалкой привычки русского простолюдина жить и действовать не иначе, как с помощью понуканья. Гаврилу слушали точно так же, как стали бы слушать любого мужика, поставленного в старосты главным управляющим.

Гаврило ничем не отличался от остальных мужиков своей деревни; он только знал счеты и разбирал грамоту; основываясь на этом, его выбрали в начальники и выдавали ему ежегодно пятнадцать рублей жалованья из главной конторы, которая находилась верстах в семидесяти, в соседнем уезде. Гаврило сильно даже скучал своею должностью; пуще всего сокрушало старосту, что, будучи сам человеком домовитым и хозяином, он принужден был поминутно отрываться от дела и ез-

дить в контору из-за каждой безделицы, иногда даже так, безо всякой надобности. Случалось, самое нужное дело на руках, – нет, бросай все и отправляйся! Кроме того, всякий раз надо было неизбежно стоять с глазу на глаз перед управляющим, который внушал Гавриле, точно так же, как и всем, находившимся в зависимости от конторы, страх непобедимый. Короче сказать, староста готов был ежегодно приплачивать еще своих денег, лишь бы освободили его от должности; то же самое готов был сделать каждый крестьянин, принадлежавший деревне Антоновке.

Не только в нравственном отношении, но и по наружности Гаврило во всем был сходен с мужиками, работавшими в поле. Ему было лет пятьдесят; на лице его, покрытом мелкими морщинками, явно проглядывал нрав мягкий, стоворчивый и веселый. Он носил на голове шапку на манер гречишника, из-под которой с той или другой стороны всегда выглядывал кончик клетчатого платка; платок служил скорее для того, чтобы утирать лицо, чем для настоящего употребления. Выходя в поле, Гаврило постоянно вертел в руках палочку,

служившую ему биркой; на ней-то надрезывал он ножом число копен, скирд, снопов и проч. Как потом мог он добратся толку и распутать на своей бирке все эти насечки, зарубки и крестики – это останется вечной неразгаданной тайной.

IV

– Ну, братцы, подкашивай, подкашивай! – понукал Гаврило, переходя от одного ряда косарей к другому, – по-настоящему, к вечеру решить бы надо!.. Вот разве бабы не успеют снопы довязать...

– Нет, сват Гаврило, нонче не управимся, – заметил коротенький кудрявый мужичок, останавливаясь, чтобы снять шапку и отереть лицо, – добре уж очень парит; раза три махнешь косой, так инда всего тебя размочалит. Невмоготу даже...

– Не одному тебе, всем жарко!.. Ну-ка, сват, полно, бери косу-то, бери! – подхватывал Гаврило, – оттого, что жарко, оттого и откоситься скорей надобно; погоди-ка денька три, в колоесе совсем ничего не останется... Эку сухмень сотворил господь!.. эку сухмень!..

– Везде сухо, везде зерно сыплется, – промолвил высокий рыжий мужик с коротенькой, крутой, кудрявой бородкой. – Вот уже третий день никто в свое поле не заглядывает! – присовокупил он, не оборачиваясь к старосте и продолжая косить, – значит, здесь справляйся, а со своим добром как знаешь, – пропадать должно!..

– Это точно, – проговорил старый мужичок, усыпанный веснушками, – хошь бы на один день ослобонили!.. Здесь хлеб уберегай, а со своим управляйся, как бог велит.

– Толкуют, точно первинку рассказывают, точно про то никто не знает! – перебил Гаврило, встряхивая шапкой, – опять-таки, я, что ли, тому причиной?.. Так велено; кто велел – сами знаете; поди-тка сладь с ним! «Чтобы все поле, говорит, на мирской магазин которое отрезано, убрать, говорит, к воскресенью; уберут, говорит, тогда за свое пускай принимаются!» Сам обещался наведаться; сам до всего доходит. А мне что? Мое дело сторона; как велят, так и делаю...

– Надо, значит, самим идти просить в контору, – сказал рыжий мужик.

– Поди-ка сунься, – много возьмешь! – заметил Гаврило.

– Значит, – продолжал опять рыжий мужик, размахивая так сильно косою, что звон ее сделался вдруг слышнее других кос, – значит, оброк только для виду для одного; слава только: вот, дескать, на оброк отпущены! Поглядеть – выходит хуже барщины! Барщинные по крайности оброка не знают; у нас деньги оброчные отдай само собою, а там еще плетни плети вокруг садов, луга коси господские, дороги починяй; пришла пора рабочая, хоть бы вот теперича – идти бы убирать свой хлеб, – нет, сюда ступай... Дни, вишь, такие выговорили!.. Сосчитай-ка эти выговоренные дни – много ли время на свое дело останется?.. Право, барщина сходнее...

– Знамо так; Филипп правду сказывает... Это точно как есть!.. – отозвались ближайшие мужики.

– Поди-ка столкуй с управителем, поговори ему, что он тебе скажет, – произнес Гаврило с сердцем, – уж было такое дело, из других вотчин приезжали, говорили ему, – с тем и уехали! Ты свое – он свое: «знать, говорит, ничего

не хочу; мое дело, говорит, было бы прежде всего исправно!..» А что насчет работы, какую теперь справляем, – продолжал рассудительна Гаврило, – надо правду сказать – браниться да жаловаться не за что: поле не господское, «мирское»[1] – стало, все единственно, для себя трудимся!

– Главная причина, дядя Гаврило, – заговорил опять мужичок с веснушками: – не ко времени работа – вот что! Этим пуще всего народ обижается; у самих хлеб сыплется, а ты здесь валандайся; оно хоть и мирское дело – а свое все жалчее упустить.

– Потому и говоришь вам: братцы, велено! как ни бейся, сделать надо; работай дружнее, не тормози рук; здесь скоро отделаемся, за свое скорей примемся... Ну, дружней, ребята, подкашивай, подкашивай – к вечеру чтобы совсем убраться!.. – подхватил Гаврило, повышая голос и принимаясь снова ходить по полю. – Эй вы, бабы, – полно вам бесперечь к люлькам бегать!.. Ох, эти бабы пуще всего!.. Авдотья, ты никак с самого обеда торчишь у люльки, ни одного снопа не связала... Брось, говорю!.. Эки, право, ни стыда в них нет, ни

совести!..

V

Во время этих разговоров с той стороны, где Деревня заслонялась пологими холмами, показался мужик. С первого взгляда легко было заметить, что он не принадлежал к числу обывателей Антоновки или если принадлежал, то по каким-нибудь обстоятельствам освобожден был от работы.

Длинные ноги его, обутые в довольно плохонькие сапоги, передвигались безо всякой поспешности; он рассеянно посматривал направо и налево, время от времени посвистывал и вообще имел вид человека, который лишен всяких забот и вышел в поле единственно затем только, чтобы прогуляться. Ему было лет под сорок; рубашка его начала просвечиваться на локтях, и швы во многих местах пообсеклись; но зато подпоясан он был новым гарусным шнурком и на голове его, покрытой реденькими черными завитками, красовался совершенно новый картуз с козырьком, вроде тех, какие носят подгородные мещане и фабричные. Сам он скорее похож

был на мещанина, чем на обыкновенного по-
селянина; несмотря на знойное лето, загар ед-
ва коснулся его лица и шеи; на лице его, до-
вольно еще красивом, не было следа тех мор-
щин, той загрубелости, которые преждевре-
менно накладывает тяжелое, трудовое житье.
Взгляд его, обращавшийся как-то сверху
вниз – точно он считал себя значительнее
всех тех, с кем встречался, – не был лишен
живости, точно так же, как и остальные чер-
ты лица; в движениях заметно, однако ж,
проглядывали лень, вялость, сонливость.

Человек этот не был совершенно чужим и
незнакомым лицом в здешних местах; едва
поровнялся он с первыми косарями, многие
его окликнули:

– Федот, здорово! Откуда?

– С люблинской мельницы...

– Дело, что ли, есть?

– Да, – лаконически отвечал Федот, слегка
приподымая картуз и продолжая идти далее.

Замечательно, что в голосе каждого, кто
обращался к Федоту, звучала веселость; каж-
дый почти, заговаривая с ним, прищуривал
глаза и ослаблял зубы. Случалось, что иной

мужичок – особенно из молодых и которые были попроще, – видя, как осклаблялись другие, схватывался попросту за бока и громко начинал смеяться. В таких случаях Федот выше только подымал голову, весь как словно от макушки до пяток преисполнялся чувством собственного достоинства и шел мимо, сохраняя такой вид, как будто на пути попался муравей, не стоящий никакого внимания.

Приближаясь к месту, где сосредоточивалась главная деятельность и куда сошелся почти весь народ, Федот спросил, как бы найти ему дядю Карпа? Карп, оказалось, косил в числе передовых косарей и находился на дальнем конце поля. Федот медленно, как бы желая похвастать своей – неторопливостью, направился в указанную сторону. Проходя мимо подвод, которые приехали за снопами, мимо баб, вязавших снопы, и мужиков, шумевших косами, – Федот снова осведомился, где отыскать дедушку Карпа.

Признав, наконец, того, кого отыскивал, Федот встрепенулся и ускорил шаг; он словно вдруг вспомнил о чем-то; лицо его выразило озабоченность, суетливость; он пошел так

скоро и начал так размахивать руками, что пот выступил на лице и даже шее; подойдя к Карпу, который продолжал усердно косить, не замечая приближающегося, Федот, и без того запыхавшийся, старался еще показать вид, что едва переводит дух от усталости.

VI

— Дядя Карп, здорово! К тебе... — озабоченным тоном проговорил Федот, снимая картуз и отирая плоский белый лоб с прилипшими к нему жиденькими кудрями.

— А, Федот! — воскликнул седой как лунь старичок, быстро поворачивая к Федоту сухощавое лицо, изрытое глубокими морщинами, — как ты здесь?..

— К тебе, дядя Карп... Ух, умаялся! — дай дух переведу, — сказал Федот, стараясь показать вдвое больше усталости, чем было на самом деле. — Примерно такое дело... переговорить надо...

Тут Федот нахмурил брови, покосился на стороны и, заметив, что ближайšie мужики остановились и посматривали в его сторону, начал мигать Карпу на соседнюю ниву, где не

было еще ни одного косаря.

– Говори здесь – все одно, – сказал старик.

– Нельзя, – суетливо перебил Федот, – никаким то есть манером... дело такое... Отойдем, говорю...

Он дернул старика за рукав рубахи и силой почти отвел его шагов за десять.

– Аксен Андреев прислал, – произнес он, быстро оглядываясь и как бы желая убедить-ся, что никто не слушает.

– Это зачем?

– Насчет избы; ты избу приторговал... При-слал: «скажи, говорит, Карпу – он тебе род-ственник, часто видаетесь, – скажи: задатку надо прибавить!..»

– Ведь я дал ему задаток, и дело совсем по-решили; чего же еще? – произнес старик нетерпеливо.

– Говорит, много на избу охотников...

– Ну...

– Много очень народу избу торгуют и день-ги сейчас отдают... «Коли, говорит, Карп при-бавит задатку, я обожду, пожалуй, а то, гово-рит, несходно!» Я затем и пришел к тебе; ты, дядя, нонче же беспременно сходи к Аксену.

Он так и наказывал: сегодня переговоры с ним; дело, примерно, такое, никаким манером нельзя оставить! – примолвил рассудительным тоном Федот и даже зажмурил глаза. – Избу я видел: изба знатная; и цена небольшая... упустить никак невозможно!..

Старик не слушал последних слов Федота; с досадливым, беспокойным выражением лица смотрел он в землю.

– Когда видал ты Аксена? – спросил он.

– Нынче утром, в самый обед. Как сказал он об этом – «дело такое, думаю себе, упустить нельзя; Карп Иваныч сродственник, оставить не годится», – прямо к тебе бросился....

– Как же попал ты туда, к Аксену? – спросил Карп, медленно направляясь к прежнему своему месту.

– Встретились по соседству... Я теперь на люблинской мельнице... вот уже с неделю живу в работниках...

– Как! ты, стало, уж не на фабрике у Василья Иванова?

– Нет, рассчитался!.. Хозяева добре очень уж зазнались... Мне здесь сходнее: хозяева – лучше быть нельзя, обходительные такие, и

жалованья больше... в неделю три целковых получаю...

Карп недоверчиво покачал головою.

– Ей-богу, три целковых! – с живостью подхватил Федот.

– Ты никак на мельницах-то прежде не жывал... – промолвил Карп рассеянно.

– Как не жывал? – возразил Федот с уверенностью, – вот те раз! Перед тем как на фабрику поступил, только и работал, что на одних мельницах!.. дело привычное... все статьи примерно знаю; другой мельник того не делает.

Хотя старик вполовину слушал Федота, но снова покачал головою.

Придя на свое место, он далеко не был так бодр и весел, как когда подошел к нему Федот; седые брови старика не оставляли нахмуренного положенья; несмотря на несколько минут отдыха, он дышал тяжелее, чем когда без усталости размахивал косою.

– Подсоби, Федот, – сказал он, – подсоби маленько, чтоб упуцения не было; я тем временем дойду до снохи, кваску выпью..

– Давай, давай!.. Нам не впервые! – бойко и

с величайшей готовностью проговорил Федот. – Ступай, дядя, справимся!..

Федот выпрямился, молодецки поправил картуз, поплевал в ладони и взял косу.

VII

– **Н**икак подсобить хочешь?.. – произнес соседний мужик.

– Нам это дело в привычку! – хвастливо возразил Федот, – в наших местах – мы на Оке живем – луга такие: конца краю не видно, глазом не обведешь! Месяц целый косим: весь мир косит, а все остается верст на десять нескошенного места... так и оставляем... скот травит.

Сказав это, Федот снова поправил картуз, снова поплевал в ладонь и молодецки махнул косою; но луга косить, видно, не то, что рожь; под косою Федота жнивья осталось вдвое больше, чем следовало, и колосья, захваченные им, легли не в ряд, а раскидались на стороны. Два молодые парня, работавшие слева, громко засмеялись.

Федот повернулся к ним спиной и осмотрел косу.

– Ну, уж коса! – сказал он с усмешкою, обращаясь к мужику, который начал разговор, – диковинное дело, как только Карп управляет-ся... Как есть ничего не берет! Дай-ка, братец ты мой, точило... Эх, была у меня коса – вот так уж точно коса! – подхватил Федот, принимаясь водить бруском по лезвию, – и теперь еще две такие же дома остались – вот так косы! Случается, найдешь на такое место – конятник заросло, – такие места есть, – махнешь косою – словно трава валится! В наших местах всё такие-то косы; по два рубля платим; этих, какими вы косите, у нас в заводе нет, впервые вижу...

– Слышь, брат, – сказал словоохотливый мужичок, – ты этак по одной-то половине не води точилом... этак совсем косу затупишь.

– Ничего, ладно, живет! – возразил Федот, возвращая ему точило.

Не поворачиваясь к двум смеявшимся парням, Федот снова принялся за работу: но дело по-прежнему не клеилось; чем больше он храбрился, чем сильнее махал косою, тем дело меньше спорилось, – выходило и криво и косо.

– А, Федот! отколь бог принес? – неожиданно спросил Гаврило.

– К Карпу за делом пришел... Он отошел кваску испить; подсобить попросил...

– Да что ты, брат, косы, что ли, в руки не брал? – сказал Гаврило. – Смотри-ка, что натворил!..

Молодые парни опять засмеялись; даже словоохотливый мужичок начал ухмыляться.

– Натворишь поневоле! – возразил Федот, тыкая с сердцем косу в землю, – вишь, у вас косы-то какие... мне не в привычку...

– А как же Карп-то косит? ведь ладно же выходит, не по-твоему!..

– Не такую мы косьбу видали! – сказал Федот тоном надменного пренебрежения, скрывавшим обиженное чувство. – В степи жить приходилось, рожь-то вдвое повыше вашей, – косили не хуже других!.. По два целковых в день получал... стало, не даром; дело свое знаем...

Он замолк, увидев приближающегося Карпа. Гаврило и соседние ребята начали было трунить над Федотом, указывая Карпу на работу его родственника; но ни Карп, ни Федот

ничего не отвечали. Первый молча взял свою косу и продолжал работу, которая пошла как по маслу; второй, поправив картуз, обратился к старику и громко вымолвил:

– Приходи же, смотри, как я сказывал...

– Ладно, приду, – отвечал Карп, не поворачиваясь. Такая невнимательная выходка со стороны старика, – и еще при людях, – вконец, по-видимому, разобидела Федота; куда ни обращались глаза, он всюду встречал ухмыляющиеся лица. Помявшись с минуту на месте, как человек, который ищет угла, чтобы спрятаться, Федот вдруг повернулся спиной и, никому не поклонившись, никому не сказав слова, пустился мелким, пристыженным шажком в обратный путь.

По мере того однако ж, как удалялся он от места, где претерпел столько неудач, стан его заметно выпрямлялся – и глаза снова начали посматривать сверху вниз; проходя мимо подвод и баб, он выступал уже величественным, сдержанным шагом; дальше он начал насвистывать; еще дальше – вся фигура его приняла беззаботный вид человека, который вышел прогуляться для собственного удо-

вольствия; наконец Федот окончательно пропал из виду.

VIII

Известие, сообщенное Федотом, сильно, казалось, встревожило старого Карпа. До того времени болтливый и разговорчивый, он впал вдруг в крайнюю несообщительность; на расспросы соседей, желавших узнать, зачем был Федот, старик отделялся, говоря, что родственник приходил безо всякой цели, а чаще всего отмалчивался. Он точно так же усердно продолжал косить, хотя уже видно было, что работа шла теперь машинально и косою водило не столько сознание, сколько привычка такого занятия. Пот лил с него ручьями; он оставался, однако ж, к этому менее прежнего чувствительным; он реже даже останавливался, чтобы дать себе отдых, остыть и порасправить спину.

Несмотря на то, что солнце совсем уже скатилось к горизонту, в поле было почти так же душно, как в полдень. Воздух, напитанный испарениями, был неподвижен; самые тонкие стебельки, приходившие в колебание без

всякой видимой причины, стояли теперь, как околдованные; облако пыли, поднятое стадом, которое полчаса назад прогнали в деревню по отдаленному холму, стояло так же высоко и только постепенно меняло свой цвет, превращаясь из золотистого в багровое, по мере того как ниже опускалось солнце.

Наконец солнце скрылось.

– Дядя Карп, народ по домам пошел! – сказал соседний мужичок.

– Шабаш! – слышалось в отдалении. – Шабаш, домой! – подхватили ближайшие соседи.

Карп молча подбросил косу на плечо и поднял голову.

В разных концах поля народ направлялся к деревне; то тут, то там раздавался скрип навьюченных снопами телег, которые тяжело покачивались, пробираясь по пашне.

Карп направился ускоренным шагом в надежде догнать сноху свою; но ее нигде не было; она не кормила ребенка, и как все бабы, избавленные от такой заботы, успела, вероятно, отойти очень далеко. Попадались только те бабы, которые поневоле должны были от-

ставать, потому что еле-еле передвигали ногами, неся на спине люльку, а в руках серп и кувшинчик.

При повороте с поля на дорогу Карп встретился с Гаврилой.

– Ну, брат Карп Иваныч, разобидели мы твоего Федота, – смеясь, заговорил староста, – пошел от нас – никому даже слова не промолвил; что за человек такой уродился! Сказывают, опять переменял место; на люблинской мельнице нанялся теперь... Зачем это приходил он? Тебя, что ли, проведать?

– Эх! – произнес старик, махнув рукою.

– Разве что неладно?

– Такое дело, совсем даже в сумленье приводит; зарецкий Аксен, что лесом торгует, прислал его ко мне...

– Зачем?

– Сказывал я тебе, приторговал я у него избу, – начал Карп таким голосом, как будто у него накипело в сердце и он рад был, наконец, высказаться, – задатку взял он с меня семьдесят рублей; дело совсем сладили; теперь прислал Федота, говорит: «прибавить надо к прежнему задатку»; очень, вишь, мно-

го народу на ту избу охотятся и деньги все сейчас отдают; «несходно, говорит, ждать до осени!» Сам суди, Гаврило Леоныч, откуда взять теперь денег? Хлеб не убран, и хошь бы и убран был – все одно не время его продавать; только в убыток продашь... Вот дело какое – шут его возьми! Я третий год за избой гоняюсь; так было обрадовался; моя совсем плоха; насилу прозимовали... Коли Аксен зартачится, не знаю, право, где уж искать избу; в своей зиму никак не проживешь; вся кругом как есть промерзает... Эх, шут его возьми! скрутил он меня этим по рукам и ногам...

– Почем за избу-то просит?

– Уговор был двести тридцать рублей, совсем уж было поладили...

– Сходно; по теперешним ценам на что сходнее.

– Об том и сокрушаешься; сходнее не найти; потому больше и жаль, Гаврило Леоныч... – вымолвил старик, насупив брови.

Немного погодя сквозь сереющие сумерки открылась деревня; войдя в околицу, Карп и Гаврило расстались.

IX

Антоновка выстроена была под самым ска-
том, на плоской луговине, которую огиба-
ла небольшая речка: во всякое время на ули-
це стояла топь непроходимая; только тепе-
решнее лето могло вполне просушить ее и
превратить грязь в слой пыли. Избы шли в
два порядка, со множеством узеньких проул-
ков; в глубине деревни, там, где речка делала
поворот и пропадала, высоко подымалось
несколько старинных ветел; дальше, за вет-
лами, снова шли пологие холмы, исполосо-
ванные оврагами и темными клиньями сос-
новых перелесков.

Изба Карпа выходила углом в проулок и на
улицу; она действительно никуда больше не
годилась, как в лом; бок ее, смотревший на
улицу, круто выпучивался и, без сомнения,
давно бы повалился, если б хозяин не позабо-
тился подпереть его двумя осиновыми плаха-
ми; все пазы были вымазаны глиной, которая
истрескалась от жары и во многих местах от-
валилась. Изба была одною из самых старых
в деревне; Карп, доживавший уже седьмой

десяток, не помнил, когда ее ставили. Ветхость избы еще заметнее бросалась в глаза от соседства с плетнями, которые отличались плотностью, стояли прямо на толстых высоких кольях. Карп не осиливал только с избыю; все остальное, что зависело от его рук и средств, смотрело как нельзя пригляднее и обличало домовитого, деятельного хозяина.

Войдя на двор. Карп встречен был блеянием овец, фырканием трех лошадей и глухим чмоканьем коровы, которая в сумерках принимала вид огромного белого камня, брошенного посреди двора. Старик повесил под навес косу, вступил в темные сени, но наткнулся на кого-то и поспешно отступил на шаг.

– Ай, дедушка, чуть Ваську не уронил! – раздался тоненький голосок.

При этом на крыльцо выступила девочка лет семи, державшая на руках толстого, как пузырь, ребенка, который кряхтел и отдувался, как словно не его тащила девочка, а он нес ее на руках своих.

– А сама что под ноги лезешь! – проговорил ворчливо дедушка, входя в избу.

В избе царствовала уже тьма кромешная;

от жары едва можно было переводить дух; мухи, бившиеся на потолке и в окнах, наполняли ее глухим журчаньем. Заслышав шум у печки, Карп обратился в ту сторону.

– Старуха, ужинать собирай; я чайл, все уж у вас готово...

– Сейчас, батюшка; сейчас сноха вынесет стол на крылечко; здесь пуще жарко... Нонче печь топили; новые хлебы, из новой муки пекла; мука белая, хорошая, на скус хлебы прошлогодного лучше...

Но и это обстоятельство, всегда почти тешащее душу простолюдина, столь бедного на прихоти и радости всякого рода, не произвело никакого действия на Карпа.

Он повесил голову, вышел из избы и снова в сенях чуть было не сшиб с ног девочку, которая, вся изогнувшись на один бок, тащила толстого Ваську.

– Ох! – крикнула девочка, с трудом пятясь назад, – ох, дедушка, – Васька! Ваську чуть не уронил!..

– А ты опять под ноги лезешь!

– Что ты его взаправду все таскаешь – сядь поди с ним, Дуня! Сядь, – проговорила сноха,

явившаяся на крылечко собирать ужин.

– Здорово, батюшка! – раздался голос из-под навеса, и на дворе показался рослый мужик, лицо которого невозможно было рассмотреть за темнотою.

Это был сын Карпа и муж молодой женщины, хлопотавшей с ужином. Карп лет уже семь освобожден был, за старостью, от всякой работы: он постоянно, однако ж, ходил в поле и исполнял все мирские и господские повинности; старик находил расчет работать за сына, который в это время управлялся в собственном поле или занимался дома; расчет был верен: Петр[2] был одним из лучших работников Антоновки.

Выйдя из-под навеса, Петр махнул рукою и погнал лошадей к воротам.

– погоди, Петруха, – сказал старик прежде еще, чем сын коснулся ворот, – кто нынче у нас в ночном? Чей черед?

– Андрей Воробей с ребятами поедет.

– Смотри, молодого серого меринка не спутывай: он не сильно боек, не уйдет от табуна; боюсь, как спутаешь, зашибут его копытами... У Гаврилы кобыла бойкая такая, скольких уж

зашибла!

– Ладно, батюшка!

Серый этот меринок дороже был Карпу всей остальной скотины; в продолжение десяти лет старику, несмотря на все старания, никак не удавалось вывести ни одной лошаденки своего завода; все или дохли, или оказывались слабыми; этот конек вознаградил его, наконец, за все неудачи: серый меринок, которому пошел уже четвертый год, удался во всех статьях; старик не мог на него нарадоваться и берег его пуще глазу.

Петр отворил ворота и вышел с лошаадьми на улицу. Немного погодя он вернулся, поднялся на крыльцо и сел подле отца на лавку, которую поставила жена.

Х

– Что, как нонче день? – спросил старик.
– Ничего, батюшка, ладно; рожь совсем решил, завтра возить стану.

– Сыплется, чай?

– Сыплется, только не много; в пору захватили; умолот будет знатный!..

В эту минуту старуха поставила на стол чашку с тертым горохом, приправленным маслом.

– Ты, касатик, хлебца-то новенького отведай, – сказала она, подавая мужу полновесный ломоть и крепко нажимая его пальцами, как бы желая доказать этим мягкость и доброкачественность хлеба, – отведай, батюшка: с прошлого года новенького хлебца не, ели...

– Ой! бабушка, пропусти! ой, не пролезу; ох!.. – отчаянно прокричала вдруг Дуня, стараясь пролезть между столом и лавкой и всеми силами упирая живот Васьки в край лавки, а собственный затылок в стол. – Ой, не пролезу! бабушка, пропусти! – повторила она, но уже со слезами в голосе.

– Ступай, родная; ступай, Христос с то-

бою... – промолвила бабушка, торопливо отодвигая лавку,

– Ой, тятка, пропусти... ой, уроню Ваську! – снова закричала Дуня, увязая на этот раз между столом и коленями отца.

Петр привстал и подсобил дочке усесться с Васькой между собой и дедом.

Во время этих переходов и неудач, повторявшихся сто раз в день, на долю Васьки выпадало всегда большое число испытаний, даром, что сидел он постоянно на руках сестры и казался вдвое ее сильнее. Часто тоненькие руки Дуни туго обхватывали Ваську поперек живота; часто, заигравшись на улице с подругами и поспешая на зов матери или бабушки, она второпях брала Ваську таким образом, что он совсем перевешивался набок, цепляясь ручонками за ее рубашку; случалось даже Ваське висеть головою вниз и болтать в воздухе ногами; но все это было ему решительно ни о чем; в какое бы трудное положение ни приводила его Дуня, он казался совершенно довольным и никогда не пищал; но зато стоило сестре попробовать посадить его на лавку или на траву, – Васька мгновенно багровел,

начинал трясти руками, наливался весь кровью, так что даже кожа его лоснилась, – и разражался вдруг пронзительным воем, который сию же минуту привлекал и мать и бабушку.

Усевшись со своим неизбежным спутником, который открыл рот, как только услышал запах еды, – Дуня придвинулась к чашке; ложка девочки ни разу не коснулась ее губ без того, чтобы сначала не попасть в рот брата; она пичкала его с таким усердием, Васька так уписывал, что отец и мать только посмеивались.

Одна бабушка не разделяла их веселости.

– Ешь, батюшка; кушай на здоровье, касатик, Христос с тобою! – повторяла старушка озабоченным голосом.

После ужина Карп обратился к востоку, перекрестился и потребовал шапку.

– Куда ты? Никак идти собрался? – спросила старуха.

– Да; дело такое вышло... Шапку давай! – повторил Карп, усаживаясь на ступени крыльца, чтобы снять лапти.

– Куда ты, батюшка? Никак взаправду идти хочешь? – спросил в свою очередь Петр.

- Да, на реку надо сходить...
- Ты бы завтра; не то мне вели-я сбегаю.
- Нет, дело такое, надо самому идти, – при-
ду, отдохну потом.

Карп взял шапку и вышел за ворота, плотно заперев их за собою.

XI

Темная звездная ночь давным-давно обняла небо.

Выйдя за околицу, Карп несколько раз шмыгал босою ногою по траве; нога его осталась почти сухою; воздух, не освеженный росю, был тяжел, душен, точно перед грозю; нигде, однако ж, не видно было признака тучи: только зарницы, вспыхивая поминутно, обливали окрестность красноватым светом.

Дорога на Оку шла все время по берегу маленькой речки; сделав крутой поворот за Антоновкой, речка протекала дном плоской долины и версты три далее впадала в Оку. Местами бока долины суживались, местами расходились, образуя по обеим сторонам речки более или менее пространные луговины.

Приближаясь к первому из этих лугов,

Карп услышал лошадиное фырканье, сопровождаемое визгом и глухими ударами копыт. При блеске зарниц различил он табун, который только что выгнали в «ночное». Старик свернул с дороги и пошел к лошадям. Почти в ту же минуту его окликнули:

– Кто идет?...

– Я, – отозвался Карп, направляясь прямо к длинному человеку, который так же скоро шел к нему навстречу.

– Ты, Карп Иваныч? – заговорил длинный человек тоненькой, надорванной фистулой, которая заслужила ему еще с детства прозвище Воробья, – я вечер еще собирался поговорить с тобою...

– Об чем это?

– Сродственник твой Федот, что женат на твоей племяннице, нанялся теперь на люблинской мельнице...

– Знаю: ну так что ж?

– Скажи ему, – произнес Воробей, неожиданно оживляясь, причем голос его сделался еще пронзительнее, – скажи ему, коли станет он шляться у моей риги или застану его опять у себя в огороде – ему так не сойдет; там что

ни выйдет, на себя пусть пеняет!..

– Что ты, Андрей; в другом чем не постою за него, а насчет то есть баловства такого, чтобы на чужое добро польстился, – этого за ним никогда не водилось; никогда об этом слуху даже не было...

– Я не насчет того говорю, – подхватил Воробей тем же раздраженным голосом, – я знаю, чего ему надо; он, собака, к сестре моей подлащивается, вот что! Она хошь и солдатка, человек вольный, а пока с нами живет, не хочу я этого сраму брать... Не хочу, чтобы ходил он к нам! Ей-богу, провалиться на месте, – коли еще раз застану в риге или увижу в огороде, – ей-богу, мы с братом намнем ему бока так, что не встанет!.. Так и скажи, коли увидишь; так и скажи! Ей-богу, исколотим всего в один синяк! Так и скажи!

В ответ на это Карп только тряхнул шапкой и досадливо кряхнул. Рассудив, что при теперешнем настроении Воробья нечего думать поручать ему присмотреть за мерином, старик простился с Андреем и, обещав поговорить Федоту, поплелся далее.

Вскоре шум табуна начал удаляться и, на-

конец, совсем пропал.

Мертвая тишина стояла над рекою и склонами долины, которые то озарялись зарницами, то погружались в темноту непроницаемую.

Карп услышал шум небольшой мельницы, которую также содержал богатый люблинский мельник. Люблинская мельница находилась уже при самом впадении речки в Оку. Миновав плотину и пройдя вдоль забора, ограждавшего мельничный двор, за которым раздался сильный лай цепной собаки, Карп продолжал путь другим берегом реки.

С этой стороны бок долины неожиданно изменялся; склон ее подымался круче, и весь, сверху донизу, покрыт был густым орешником; местами, как основы великанов, возвышались над чащей сухие столетние дубы, простиравшие к небу черные, причудливо изогнутые ветви. Немного далее, лес, как словно насильственно раздвинутый, оставлял с вершины холма донизу совершенно голую почву, покрытую рядами ям и бугров, которые, каждый раз как вздрагивала зарница, придавали перелеску особенно мрачный, пустынный

ный характер.

XII

Место это считалось вообще «недобрым» в Моколотке. Тут, сказывали, находилась когда-то деревня, которая до последней щепочки выгорела от громового огня. Носились также слухи, будто в давние времена Ока при весеннем разливе принесла сюда росшиву, нагруженную татарским золотом; барка застряла именно в этом месте, после чего ее доверху занесло илом. Лет тридцать назад нашелся одинокий старый мужичок[3], который не шутя прельстился сокровищами, скрывавшимися будто бы в этом месте. Он стал ходить сюда чаще и чаще; сначала ходил он так, ради любопытства; осмотреться, что ли, ему прежде хотелось – неизвестно; потом начал брать с собою скребок и уже каждый день с утра до вечера, с зари до зари, проводил время, взрывая и ворочая землю. Так провел он целое лето. Он с каждым днем заметно более и более впадал в раздумье; мало-помалу перестал он с людьми разговаривать, начал дичиться и бегать от ближайших знако-

мых. Раз, – это было уже осенью, – батраки люблинской мельницы, проходя мимо этого места холодной морозною зарею, нашли старика распростертого навзничь с лопатою в руках: стали его окликать, подошли ближе, – он был мертв.

Множество баб и даже некоторые, по-видимому, степенные люди положительно утверждали, что самим им случалось, проходя мимо Глиница[4], слышать подземный жалобный стон, от которого сами собою начинали шевелиться уши и холод пробегал по спине и волосам. Короче сказать, место считалось «проклятым», и редкий человек даже среди белого дня не проходил мимо, не ускоряя шага.

Но Карп, надо полагать, не верил таким слухам; быть может также, чувство страха ослаблялось в нем привычкой; более шестидесяти лет ходил он мимо Глиница, и во все это время ни разу с ним ничего не случилось. Мудреного нет тоже, мысли Карпа слишком сильно заняты были предстоящей беседой с Аксеном, чтобы мог он обратить на что-нибудь внимание.

По мере приближения к Оке лес редел, и щеки долины расходились, оставляя место просторным лугам. В непроницаемо темной глубине сверкнула, наконец, Ока; по мере того как река открывалась, удушливый воздух заметно освежался. Слева, над берегом, возносились черными неправильными углами строения большой люблинской мельницы. Дорога делала неожиданно поворот и прямо вела к парому. В то время, когда Карп проходил мимо пристани, парома не было; недвижною темною точкой стоял он, казалось, на гладкой поверхности реки, отражавшей мириады мигающих звезд. Далее, шагах во ста от пристани громоздилась куча бревен; тут же насупротив возвышалось несколько новых, непокрытых срубов.

Проходя мимо одного из них, Карп невольно приостановился и оглядел его сверху донизу; это была та самая изба, которую он при торговал у Аксена.

Карп прямо пошел к маленькой крытой избушке, в которой летнею порою помещался обыкновенно Аксен.

У входа, на траве, раскинувшись на войло-

ке и прикрывшись полушубком, лежал человек, который храпел «во всю ивановскую».

XIII

— Аксен! – сказал Карп, нагибаясь к спавшему и слегка подталкивая его. – Аксен Андреев!..

– А? – проговорил Аксен, высовывая из-под овчины голову и прерывая свой сон безо всякого затруднения, с легкостью, свойственной вообще тем деятельным простолюдинам, для которых первый жизненный вопрос – дело, барыш, и которые отдаются отдыху не в условный час, не когда захочется, а когда свободно и где придётся.

– К тебе, Аксен Андреич! – вымолвил старик не совсем уверенным голосом, – в другое время недосуг ходить; ты присылал ко мне нонче Федота.

– Посылать – не присылал, только велел сказать при случае: ты бы ко мне как-нибудь понаведалься.

– Сказал он... Я все в толк не возьму, Аксен, право, в толк не возьму; ведь я тебе семьдесят рублей задатку отдал...

– Отдал.

– Тогда уговор у нас был: семьдесят рублей задатку, а в осень, после уборки, остальные деньги... Совсем было того – поладили; теперь что ж это будет такое? Ведь этак, Аксен, не годится, право, не годится...

– Экой ты, братец мой, чудной какой! – право, чудной! Я от задатка твоего разве отказываюсь? Говорю только: надо как-нибудь сладить, потому выходит дело совсем несходное. Всяк свой барыш наблюдает; ты норовишь себе потрафить – я себе... Вот теперича человек двадцать напрашиваются на избу-то! – и деньги все сейчас отдают, как есть до копейки. На прошлой неделе выселковский мужичок приходил ко мне; так тот тридцать рублей лишку давал, в упрос просил, отдай только! Рассуди сам таперича: люди деньги выкладывают; барыши дают; за тобой надо ждать еще два месяца, пожалуй что и тогда не разделаешься с хлебом, – не соберешься с деньгами... Суди, сходно ли? А насчет задатка говорить нечего, возьми его хоть завтра...

– Что ж ты прежде мне об этом не сказываешь?

вал? – произнес старик досадливым голо-
сом, – вишь, время какое – самая уборка! Сам
знаешь: где нашему брату достать денег?.. Где
их взять!

– Денег у тебя не спрашиваю; может, так
как-нибудь, без денег, сойдемся.

Карп ясно понял, что Аксен неспроста от-
казывался от денег, что, верно, держал на уме
какое-нибудь намерение. Старик не показал,
однако ж, виду своего недоуменья; он сделался
только внимательнее прежнего.

– Вот к осени коров стану бить на мясо, –
проговорил Аксен, – не найдется ли у тебя
лишней скотины?..

– Всего одна корова.

– Ну, в другом чем сойдемся... У тебя мери-
нок серый трехгодовалый... его отдай; цену,
какую положишь, та и пойдет в счет избы...

Предложение Аксена поразило Карпа са-
мым неожиданным образом. Он знал очень
хорошо, что Аксен не тот человек, чтобы стал
говорить зря и наобум касательно приобрете-
ния лошади, что, верно, он имел свои виды,
что все давно было у него обдуманно.

Несмотря на свою наружную простоту и

сговорчивость, Аксен принадлежал к числу самых тонких, самых пронырливых и хитрых мужиков уезда. Способность его пронюхивать барыш там, где другие барыша не подозревали, могла только равняться с его оборотливостью и неутомимой деятельностью. Аксена видели всюду, на всех ярмарках, базарах, по пристаням в торговые дни; он вел торговлю сплавным лесом, досками, солил солонину, торговал говядиной, жег кирпичи и известку, скупал рощи, сымал сады у помещиков. Нельзя сказать, чтобы товар его был хорош и отличался доброкачеством; все делалось спешно, зря, на живую руку: говядина была тощая, яблоки снимались незрелыми, срубленный лес продавался всегда сырым, кирпичи были недопечены. «Ничего, сойдет!» – говорил всегда Аксен. И точно, крестьяне и помещики уезда поневоле должны были обращаться к Аксену, который силою денег и деятельности завладел мелкою торговлею уезда.

Карп знал также – и это всего более приводило старика в расстройство, – что, при простоте своей и сговорчивости, Аксен – человек крепкий, как кремень: если уж что заберет в

голову, ни за что не отступится. Нечего, значит, было и разговаривать; надо было тут же решиться или уступить серого меринка, или взять назад задаток и отказаться от избы. Тем не менее Карпу обидно как-то показалось уступить сразу, с первого слова.

– Рассуди теперь и ты, Аксен Андреич, – произнес он внушительно, – у меня две лошади: хорошо, отдам я тебе меринка, как же я при одной останусь?..

– Скоро осень, а там и зима привалит; больше одной лошади держать тогда незачем; у вас же все на оброке, не справляют, зачем две лошади? Куда их? только корм травить понапрасну... Пожалуй, я и на то согласен: до того времени, как в поле работа не кончится, оставь у себя меринка, я за этим не погонюсь.

– Кто ж тебе об нем сказывал? – спросил Карп, у которого при этом словно подступило к сердцу.

– Мало ли сюда ходит всякого народу... из вашей деревни, из других также; пуще, признаться, хвастал сродственник твой Федот...

– Он-то, собака, из чего? – промолвил ста-

рик, быстро сжимая кулаки и так же скоро разжимая их, чтобы не заметил этого собеседник.

– Уж этого я не знаю; только каждый день придет, и давай хвалить... Заезжай, говорит, погляди да погляди! Было мне к вам по дороге, я и подъехал к вашему табуну... Федот со мной ввязался; он и лошадь указал... Точно, лошаденка складная; шестьдесят рублей можно дать.

Подвернись в эту минуту Федот, старик разругал бы его на все бока, мало того, вцепился бы, кажется, в жиденькую бородку родственника и тряс бы ее до тех пор, пока волоска не осталось.

Тут между Карпом и Аксеном завязался сильный торг, который кончился тем, что Аксен прибавил за мерина еще четыре с полтиной; на том дело и остановилось. Эти шестьдесят четыре с полтиной, приложенные к прежним семидесяти рублям, составляли сумму, которая, в качестве задатка, совершенно удовлетворяла Аксена; с Карпа оставалось получить около ста рублей; Аксен соглашался ждать эти деньги до осени, как прежде было

условлено.

– Когда же за мерином-то прислать? – спросил Аксен.

– Хошь завтра, хошь послезавтра – когда хочешь! – проговорил Карп отрывисто.

Он поправил шапку, которая во время этих разговоров совсем скосилась на сторону и, простившись с Аксеном, повернул на дорогу.

– Эй, слышь, Карп! – крикнул Аксен, делая шаг вперед, – слышь – Федот ко мне просился; взять его, что ли?

– Провались он совсем! – нетерпеливо возразил Карп.

– Не братъ, стало, что ли?

– Ведь он, собака его ешь, две недели всего нанялся на люблинской мельнице – чего ему еще? – спросил Карп, останавливаясь. – Три целковых в неделю жалованья одного получает, чего ж еще – собаке!

– Он, что ли, тебе сказывал? – смеясь, вымолвил Аксен, – ну, здоров, значит, врать-то! Всего за четыре рубли в месяц живет: за ту же цену и ко мне просится; так как же, по-твоему, взять его, что ли?

– А пес его возьми совсем! – с сердцем ска-

зал Карп, удаляясь.

XIV

Когда Карп подошел к окраине той части берега, где находилась пристань, паром стоял уже на причале. Фигуры двух перевозчиков смутно обозначались на песке берега; сколько можно судить по голосам, тут, кроме перевозчиков, находилось еще несколько человек. Все они сидели у самой воды и громко разговаривали. Проходя мимо, Карп явственно услышал голос Федота.

Первым движением старика было сойти по скату берега и тут же, при людях, осрамить Федота и разругать его на чем свет стоит: но он удержался, рассудив тотчас же, что этим дела не поправишь. К тому же степенный нрав старика противился всякому шуму и брани, – особенно на миру, при чужих людях.

«Ну его, поганца! подвернется где-нибудь в одиночку – я ему. тогда все припомню!» – подумал старик, отводя глаза от парома.

Голос Федота громко раздавался: заметно было, он говорил с жаром и увлечением.

Карп невольно замедлил шаг; минуту спу-

стя он остановился и насторожил слух; любопытно стало ему послушать, о чем это так горячо тараторил его родственник.

– Эта невидаль пять пудов поднять! Как жил я на крупчатой мельнице под Коломной, такие у нас батраки были, мешка по четыре пшеницы в третий верх таскали! Значит, пудов по десяти! Самому, бывало, не одна случалось... Известно, был я в ту пору помоложе!.. Да это что, братцы, – вот дед был у меня, так точно была силища! Супротив него таких теперь и людей нет! Пойдем, бывало, на пристань в базарный день, распоясается: «выходи!» кричит; первого, кто покуражился, хлопзнет, бывало, под сусолы либо под микитки – тут тому и конец... Бывало, часа по три без отдыха бьется, ведь даже синий делается, словно чугунный котел; а все, кто ни подвернется, – так и кладет лоском. «Нет еще, говорит, человека такого, кто бы победил меня! Был бы только, говорит, крест на человеке, со всяким буду драться, никого не боюсь!..» Такая была крепкая скотина!.. А насчет того, о чем прежде спрашивали, братцы, – это мне наплевать! я был и сам у Герасима[5] – ни за

что не остался! Нанялся я у него потому больше, что надо как-нибудь время проволочить недельки еще на четыре! – с уверенностью продолжал Федот, – такой уговор был у меня с купцом Бахрушиным... Прокофий Андреевич – знать... Вы, чай, об нем слышали? первый купец в Коломне, миллионщик, торгует на первый сорт, и в Москве также лавку свою содержит... Такой уговор, был у нас: «как поделюсь, говорит, с братом, ты, Федот Васильич, ко мне поступай, и жалованье, примерно, и все такое, говорит, будет тебе по самому настоящему положенью...» Он сродни мне доводится... по жене... Потому жена моя купеческого званья... Жду, значит, теперича этого раздела промеж братьев; по той самой причине и поступил сюда... Главная причина, мы к этой мельницкой должности не приучены; жили всё по торговой части, этим больше сызмалетства занимались, и родители мои также... Упокойный родитель трактир содержал; также лавку с красным товаром.

– Вы, значит, в городе жили? – спросил один из слушателей.

– Нет, дома; только у нас село больше дру-

того города; церквей одних семь, и все каменные; дома также все каменные; фабрик одних никак пять или шесть... Всё богачи содержат, купцы московские и серпуховские... Мы к торговле с малых лет приобучены... Во всем, значит, привычка требуется... Посади теперь любого из вас, братцы, в лавку либо в трактир, как есть ни один не управится, – в лесу все единственно!..

– Где! куда тебе! Уж это как есть! – отозвалось несколько слушателей.

– Главная причина, Прокофий Андреич потому и звал меня; знает, я ихнее дело наскрозь произошел... Хозяйка моя тем временем своим домом станет управляться... У нее две батрачки... да еще девочку нанимает для подмоги.

– Что ж много? – спросил кто-то.

– А ты думаешь, как? – еще словоохотливее заговорил Федот, – у меня дом-то немалое количество: в три сруба выстроено!.. В наших местах все так строят; нет этих здешних изб... Внизу стряпают; работницы и батраки живут...

– Ты разве и батраков держишь?

– А то как же? Двух нанимаю... Кто ж бы землю-то стал пахать?.. У нас земли и лугов не то, что здесь... Ну, внизу батраки, вверху горница – мы с женою занимаем... Вот, братцы, коли кто из вас в Москву пойдет, заходите дорогой... Меня не будет – все единственно, к хозяйке моей зайдите; скажите: «Федот, мол, прислал»; сами посмотрите наше житье... Прошлого года дом мой под трактир нанимали, только не отдал; несходно... И хозяйка так говорит: «не отдавай, говорит, Федот Васильич; самим потом нанимать надо, одно на одно выйдет...» Заходите же, братцы; посмотрите на мое житье, сами скажете: из какого, мол, дьявола таскаться так-то Федоту по мельницам!

– То-то и я так думаю... – проговорил тоном недоверия и насмешки один из слушателей, – хошь бы теперича набиваешься ты к Аксену в работники... Из какой такой неволи?..

– Эх, братец ты мой! – произнес Федот с таким выражением, что можно было думать, он обращался к пустому и вздорному малому, который совался в разговор затем только, чтобы противоречить. – Говорю вам, братцы, пуще

всего надо проволочить время. Пока Прокофий Андреич с братом не поделятся – все же одно, делать нечего, деньги свои понапрасну проживать, что ли?

– Денежки-то, стало, водятся?

– Да, – проговорил Федот с какою-то густотою в голосе, – после упокойного родителя тыщонки две, может, осталось... и, теперича есть...

– Врешь! – отозвались почти все в один голос.

– Приходите, покажу... И больше было, только дом дорого стал, на стройку много пошло...

– Где ж у тебя эти деньги? – спросил кто-то.

– Известно, в сундуке спрятаны; где ж им больше быть?..

– Уж подлинно: охота пуще неволи! – снова заметил собеседник, обращавшийся с недоверчивостью... – Будь у меня такие деньги, стал бы я, как же, по чужим людям шлаться...

– Говоришь, так, братец ты мой, потому, – денег у тебя нет своих, – вот что! было бы, стал бы беречь их, все единственно... Коли сила есть в тебе, почему ж и не поработать? –

рассудительно продолжал Федот, – бережешь пуще к старости, было бы тогда чем прожить, вот что! Хоронишь также деньги из осторожности; люди бы не зарились, займы не просили: покажи только; тот: «Федот Васильич, ссуди»; другой: «Федот Васильич, ссуди»... Дашь – поди ищи потом, не то и вовсе пропади... Уж ведь бывали статьи такие! У меня сродство большое... Есть богатые, есть и бедные... всякие есть!.. Вот бы хошь теперь в Антоновке, может знаете, старик живет, Карпом звать?.. сродни приводится... Также немало ему от меня денег-то перепало... почитай, я его и поправил... Теперь избу новую торгует... Покажи только деньги, вынь их, сейчас пристанет: «дай, да дай!..» Потому больше их и хоронишь!..

XV

Карп слушал-слушал и только качал голову, пожимал губами и время от времени ударял ладонями по коленям. При последних словах Федота он только плюнул.

– Ах ты, провал тебя возьми! собака ты этакая непутная!.. – проговорил он, выходя на дорожку и ускоряя шаг.

Перебирая все, что привелось теперь слышать, старик невольно забыл на минуту свою горе; ой начал даже усмехаться.

Действительно, было над чем потешиться. Во всем, что говорил Федот, не было правды на маковую росинку. Жил он в маленькой разоренной деревушке, где не было даже часовни; дом его состоял из полуобвалившейся дымной лачужки, имевшей вид заплаты даже в соседстве невзрачных избенок; не было у него ни сохи, ни лошади, ни коровы; землю свою отдавал он за девять рублей в год одному из соседей. Жена Федота доводилась, как известно, Карпу, племянницей; она была круглая сирота, и сам же Карп снарядил ей, по силе своей, кой-какое приданое. Она суще-

ствовала тем, что ходила работать то к одной соседке, то к другой, и жила в страшной бедности. Федот не заглядывал домой по целым полугодам. К какому бы месту он ни прилаживался, ему нигде не уживалось; он сам отходил, или его рассчитывали.

В первые два-три дня он приводил в восхищение самого взыскательного хозяина: расторопность его и усердие в работе – не имели границ; он разом хватался за все, и все кипело и выправлялось в руках его; не только прикладывал он старание к той части, для которой собственно его наняли, но радел и надсаживался там, где, казалось, его вовсе не спрашивали; он выметал двор, чистил хозяйский самовар, приколачивал жерди или доски там, где они доставляли удобство; и вдруг, на третий или четвертый день, все это радение плашмя падало; он ни с того ни с сего насупливался, переставал говорить, словно его чем обидели, и, наконец, вовсе бросал заниматься делом: проводил день-деньской сидя у ворот или так бил баклуши. И все это происходило вовсе не потому, чтобы действительно нашел он повод быть чем-нибудь недовольным; та-

кой уж, видно, каприз напал. Вдруг казалось ему, что хозяева не довольно его ценят и не отдают ему должного уважения; или выходило все из того, что он вдруг обижался, зачем, при возвращении с работы, хозяева не поставили ему самовара, тогда как он прежде вовсе не думал об этом, никогда этого не случалось, никогда даже не думали уговариваться насчет самовара ни хозяева, ни сам Федот. Как только такал дурь попадала Федоту в голову, он делался невыносим. Он начинал смотреть на всех свысока, делался недоступно-гордым и уже с этой минуты никого не удостоивал словом; едва-едва даже отвечал хозяевам, когда те спрашивали о самом важном деле.

Рассказы Федота недолго, впрочем, занимали Карпа; послав его мысленно к нечистому, старик снова обратился к настоящим своим делам и снова отдался прежним тревожным думам; к ним присоединялась теперь мысль об утрате серенького меринка, которого он так долго ждал, берег и холил с такою заботливостью.

Таким образом Карп незаметно почти возвратился в Антоновку; он не пошел к околи-

це, но повернул задами деревни, прошел к себе в ригу, помолился и растянулся на соломе, прикрыв лицо шапкой.

XVI

В сельской трудовой жизни, особенно с апреля до октября, время пролетает с невероятной быстротою; не успеваешь кончить с одной работой, смотришь, уже другая наготове; в иную пору скопляется вдруг столько занятий, что длинный летний день кажется коротким. Несмотря, что дело, повидимому, очень немногосложно: все ограничивается овсом, рожью и сеном, — руки неугомымо работают, и пот льется ручьями в продолжение целых шести месяцев.

Самые эти занятия так разнообразны и несхожи одно с другим, что каждое из них не только вносит новые условия в жизнь простолюдина, но совершенно даже дает новую физиономию деревне и окрестности. Всего каких-нибудь четыре недели назад деревни и села были пусты и оживлялись только по праздникам или к вечеру, после солнечного заката. Жизнь сосредоточивалась в поле; там

кипела полная деятельность; там от зари до зари неумолкаемо звенели косы, скрипели воза и раздавался говор. Теперь все переменялось; теперь в свою очередь опустело поле; самые стрекозы и мухи неизвестно куда вдруг делись; изредка слышится протяжное посвистывание пастуха, который лениво подгоняет тощее крестьянское стадо.

Время и дожди немало также содействовали к тому, чтобы дать окрестности другой характер; жара миновала, и вместе ей тем побледнело лучезарное небо, на которое нельзя было взглянуть не прищурясь. Рощи смотрят теперь бодро, хотя по опушкам, начинает кое-где показываться желтый лист; луга сбросили болезненный вид и снова стелются ярким зеленым бархатом; темные увлажненные десятины, только что засеянные под озимь, резко отделяясь от бледножелтого жнивья, придают картинность местности, которая прежде затушевывалась скучным, однообразным серым тоном. С речкой также произошла перемена; она стала полнее, так что седые листья лопуха, которыми покрыты были песчаные откосы берегов, кажутся теперь плавающими

над водою. Ручьи, едва заметно пробиравшиеся между камнями, звонко гремят теперь, унося с быстротою обломки древесной коры и сухие листья; но уже в укромных местах, густо обросших зарею и травами, там, где ручьи впадают в реку, – не роятся коромысла со своими стеклянными головками и кисейными крыльями.

Но что особенно бросалось в глаза, так это перемена в Антоновке. Она словно обновилась. Все почти избы покрыты новой соломой; на задах деревни неуклюжие риги заслонены скирдами, которые, привлекательно круглясь в сжатом пространстве гумен, гордо возносят свои остроконечные макушки. Со всех сторон раздаются учащенные удары цепов или слышится шум подбрасываемого на воздух зерна, которое звонко падает на гладко убитый ток.

В этой деятельности, сосредоточенной в деревне, всегда как-то меньше суетливости, чем в поле, даром что там она сжата, здесь рассеяна на большом пространстве. В поле чувствуется всегда присутствие чего-то спешного, судорожно-хлопотливого, – словно весь

работающий люд находится под влиянием тревожного какого-то ожидания; в деревне совсем не то; прислушайтесь осенью, в будничные дни, к деревенским звукам – в них нет ничего беспокойного. Со всех сторон бьют цепи, шумит рожь, а между тем нет тревоги, нет суетливости; отовсюду веет миром и кротостью – чем-то таким, что сообщает душе спокойное, удовлетворенное чувство.

Тайна этого не заключается ли в тех высоких скирдах ржи и овса, которые заслоняют гумно каждого почти крестьянина?..

XVII

Хотя ворота Карповой риги – те ворота, которые отворялись на ток, – были настежь раскрыты, нечего было думать приступать с этой стороны. Из ворот вылетало, клубясь и поднимаясь кверху, целое облако пыли; перед входом громоздился ворох куколи, мякины и всякого сору; кроме того, легкая летевшая пыль ослепила бы глаза. Надо было обогнуть строение и войти в другие ворота, также настежь отворенные, но обращенные к полям, откуда тянул легкий ветерок.

При входе в ригу сначала решительно ничего нельзя было рассмотреть от резкого перехода из света под темную крышу, но это проходило скоро. Прежде всего выставлялись горы взбитой соломы и между ними сквозь облако пыли виднелись Карп, его сын и сноха, которые, стоя друг против друга, неистово махали цепами, стараясь, по-видимому, истребить друг друга; потом, при взгляде наверх, постепенно выяснялись кривые стропила и пучки соломы, из которых поминутно вылетали ласточки, стремительно пропадавшие в светлом пятне ворот. Под конец глаз совершенно привыкал, начинал даже любоваться коричневым полусветом, который наполнял ригу и постепенно темнел, приближаясь к воротам, как бы для того, чтобы еще резче выставить всю миловидность светлого пейзажа с клочком голубого неба, зеленым лужком и сверкающим белым облаком, отражавшимся в повороте речки.

Судя по солнцу, время приближалось к полудню, когда за плетнем неожиданно раздались чьи-то охи; вслед за тем в светлом пространстве ворот показалась Дуня.

Пройдя от дому до риги, она совсем уже запыхалась и через силу поддерживала Ваську; выпучив глаза и засунув в рот указательный палец, Васька так же мало, по-видимому, заботился о руках сестры, как паша какой-нибудь о диване, на котором покоится.

– Ух! – вымолвила Дуня, переваливая Ваську на другое плечо. – Дедушка, староста зовет! – подхватила она торопливо, – стучит под окнами, народ собирает... Под ветлой на улице народ собирается!..

– Чего им там надо! – произнес Карп, опуская цеп.

– Не знаю, дедушка! – отозвалась внучка, думавшая, что вопрос к ней относился.

– Гаврило никак в контору не ездил... – заметил Петр.

– Оттуда, может, приказ прислали, – сказал Карп, надевая шапку и утирая рукавом лицо, совсем почерневшее от пыли. – Скоро время обедать, – вымолвил он, останавливаясь в воротах, – вы, как копну домолотите, домой ступайте, я скоро приду.

– Ладно, батюшка! – отозвался сын, принимаясь снова за цеп.

XVIII

Народ действительно собирался к ветле, бросавшей тень на тесовую крышу мирского магазина. Еще издали Карп услышал шумный говор. Судя по тому, с какою поспешностью крестьяне шли к сборному, месту, надо было думать, причина сбора была немаловажная и слух о ней успел уже обежать деревню.

Карп ускорил шаг.

– Карп, слышал? – обратился к нему старый мужичок, толкавшийся вместе с другими.

– Ничего не знаю...

– Оброк требуют!

– Как так?

– Теперь, говорят, требуют...

– Срок к Кузьме и Демьяну; всегда так отдавали... Еще семь недель до срока остается...

– Теперь, говорю, требуют! Из конторы писарь с бумагой приехал; сказывают, наказ такой из Питера барин прислал...

– Кто сказывал-то?

– Гаврило; он и бумагу читал...

Карп, приведенный в смущение таким известием, начал протискиваться в кружок, чтобы узнать что-нибудь повернее: но толку нельзя было добиться никакого; все говорили в одно и то же время, и все говорили разное, перетолковывая каждый по-своему. Теперь, как и всегда, впрочем, в случаях мирской сходки, первым действующим лицом являлся рыжий Филипп, тот самый, который смелее других выражал когда-то в поле свое мнение.

Голос его на этот раз не покрывал остальных голосов; тем не менее плечистая фигура его, целою головою почти превышавшая толпу, появлялась то в одном конце сборища, то в другом; шапка его то и дело пригибалась к уху товарищей, с которыми не переставал он втихомолку, но с одушевлением разговаривать.

– Где ж староста? Куда его носит! все никак собрались... Кого еще надо? – громко, наконец, произнес Филипп, выпрямляя голову. – Эй, Гаврило! – крикнул он еще громче, поглядывая на улицу и обращаясь к старосте, который обходил последние избы, постукивая в окна. – Эй, староста! ступай! Все уж здесь!..

– Иду! – отозвался Гаврило, торопливо направляясь к магазину.

Толпа расступилась и замкнула в свой круг старосту. Человек десять, из которых один только разбирал печать, но не мог читать писаного, легли Гавриле почти на спину.

– Что вы, братцы! – сказал староста, ворочаясь на месте, – думаете, что я от вас утаить хочу, что в грамоте писано... Бери, читай сам, кто хочет...

– Ну, читай, читай! – нетерпеливо вымолвил Филипп, становясь к старосте ближе всех. – Помолчи только, братцы, ничего как есть не слышно.

Вмиг все замолкло.

Гаврило вынул из-за пазухи письмо и прочел довольно внятно и толково следующее:

«Гаврило Андреев, с получением сего приказываю тебе собрать мирскую сходку и объявить о немедленном сборе оброка; в случае если выйдут какие замедления, приказываю тебе не медля явиться в контору и донести мне об этом.

Старший управляющий конторой Попов».

Громкий ропот пробежал в толпе; все зако-

лыхалось и пришло в движение.

XIX

— Что ж нам, братцы, делать теперича? — спросил Гаврило с недоумевающим видом.

— А то делать — не отдавать оброка, — вот и все! — сказал Филипп, оглядываясь вокруг и стараясь увериться, не торчит ли где-нибудь писарь, присланный из конторы. — Сказано: срок к Кузьме и Демьяну, — тому, стало, и быть! — прибавил он решительно.

— Писарь сказывал мне, — начал Гаврило, — из Питера в контору такой приказ пришел; сам барин велел оброк представить...

— Господа нашего положения не ведают; это все вертят эти мошенники управители! — заговорил опять Филипп. — Православные! — воскликнул он, неожиданно обращаясь к толпе, причем лицо его сделалось вдруг таким же красным, как волосы и коротенькая курчавая бородка, — православные! что ж вы стоите, молчите? Надо всем ответ держать!.. Что ж это такое! одно, выходит, разоренье! До оброка целых семь недель сроку остается? Отку-

да теперь взять его? У многих хлеб еще в поле; а хошь и обмолотились, куда его продашь? Цены нет никакой теперь. Даром, что ли, отдавать?

В толпе опять разом все заговорило, так что в первую минуту невозможно было разобрать слова.

– Погодите маленько, братцы, дайте слово сказать! – крикнул Гаврило.

Снова наступило молчание.

– Обо всем этом, что ты говоришь, Филипп, сами мы знаем, – начал Гаврило, – надо, примерно, не об этом... Настоящим делом рассудить надо... Оброка, говоришь, не платить... Велят – так заплатишь... Надо настоящее говорить... потому словесами одними ничего не сделаешь...

– Изволь, я и настоящее скажу... Давно бы сказал... ты же перебиваешь! Настоящее то, что в контору надо ехать к управителю! – возразил Филипп. – Велели миру собраться – и собрался; миром и положили: время такое – нет силы возможности отдавать оброка; к Кузьме-Демьяну отдадим, как следует по положенью... Теперь нет цены на хлеб... Про-

дать теперь – значит разоренье одно... так и сказать надо!..

Все в один голос подхватили мысль Филиппа. Напрасно Гаврило убеждал в бесполезности поездки к управителю с таким поручением, напрасно приводил из опыта разные примеры, – мир поставил на том, чтобы Гаврило ехал.

Решив таким образом, толпа стала расходиться, собираясь на улице маленькими кучками, в которых громко говорили.

Карп вернулся домой чуть ли не из последних.

Войдя во двор, он застал жену и сноху под навесом, где стояли лошади; обе женщины, припав к плетню лицом, жадно к чему-то прислушивались. До слуха старика долетели в то же время крики, раздававшиеся у соседа.

Скрип ворот заставил баб обернуться; обе побежали к Карпу.

– Батюшка, касатик, – заговорила старуха, – сейчас Воробей с братом сестру свою, солдатку, били... Так били – у нас даже слышно было... Пришли они, как народ стал расходиться, – и давай колотить... Слышим, кри-

чат... Что такое, думаем?.. Подошли послушать: уж так-то кричит – и-и-и!..

Карп сейчас же смекнул, в чем дело; но он был слишком не в духе, чтобы вступить в разговор и дать жене и снохе объяснение того, что происходило у соседа. Он сделал вид, как будто не обратил никакого внимания на слова жены.

Поднявшись на крыльцо, он сказал только бабам, чтобы скорее собирали обедать.

XX

Несмотря на то, что зори по утрам начинали быть довольно холодны, Карп все еще продолжал спать в риге. В ночь, которая следовала после сборища у магазина. Карп, начавший уже засыпать, внезапно пробудился и стал прислушиваться. Слух его явственно различил шорох; но где он раздавался, внутри или снаружи риги, – этого в первую минуту не мог разобрать старик... Наконец слышно стало, что кто-то царапался вдоль плетня и перебирал ногами в высокой крапиве, окружавшей ригу. Немного погодя чьи-то руки ощупали деревянный засов и бережно нача-

ли отворять ворота.

– Кто тут? – крикнул Карп, торопливо приподымаясь с соломы.

– Я... дядюшка Карп... – проговорил кто-то, шмыгнув в ригу.

– Кто ты? – еще громче крикнул Карп, делая шаг вперед.

– Не признал, что ли?.. Я, я, – Федот! – произнес голос, явно старавшийся принять характер примирительный, заискивающий.

– Так это ты! – мог только выговорить старик, озадаченный таким неожиданным появлением.

– Было мне по дороге, думал отдохнуть у тебя, – подхватил Федот скороговоркою и как бы стараясь замять речь старика, – Аксен просил сходить в Андреевское... насчет, то есть, – корова там у барыни продается... так посмотреть просил... Я у него живу теперича... Ну, запоздал маленько... Дело не спешное, думаю; дай найду к дяде Карпу, отдохну до зари...

– Врешь, врешь! бесстыжие твои глаза! – заговорил сквозь зубы и как бы с озлоблением старик. – Врешь! знаю я, зачем ты сюда шляешься! Знаю, с какими коровами хо-

дишь... Собака ты этакая!..

– За что ж ты ругаешься...

– Ах ты, непутный ты этакой! – продолжал Карп, все более и более разгорячаясь. – Будь я помоложе, – я бы в тебе места целого не оставил!..

– Не тот я человек, чтобы меня трогать! – обиженным тоном возразил Федот, – никто еще меня не трогал... Это уж я вижу: значит, тебе на меня наговорили...

– Нет, не наговорили!.. Кто разболтал Аксену про мерина, а? – кто?.. Говори, через кого, коли не через тебя, лошадь отошла от двора моего?..

– Слушай, Карп Иваныч, – снова скороговоркою начал Федот, – провалиться мне на этом месте, отсохни мои руки, лопни мои глаза...

– Молчи, бесстыжий! Не божись лучше, не греши... Сам я про все знаю. – Стой, погоди! – воскликнул Карп, думая, что Федот хочет улизнуть, тогда как Федот отступал только в сторону, боясь, чтобы Карп его не ударил. – Сказывай, благо придало к случаю: какие и когда давал ты мне деньги? а? Говори, когда я

брал у тебя? Зачем же ты рассказываешь, что ссужал меня деньгами, и теперь хоронишь, которые остались, – боишься, не стал бы я просить на избу...

– Отсохни мои руки, лопни мои глаза... – начал было Федот, но Карп не дал ему договорить.

– Молчи, окаянный, не божись, сам слышал!

– Ничего я этого не говорил.

– Врешь! Как шел я намедни ночью от Аксена, сам слышал, как ты на пароме...

– Что ты? – перебил Федот, – ноги моей никогда на пароме не было! Все это, Карп Иванович, одни сплетки про меня путают, – подхватил он невинным голосом... – И охота только слушать тебе... Меня все знают!.. Не тот я человек совсем.

– Ну, теперь, – продолжал Карп, не обращая внимания на оправдание своего родственника, – сказывай, зачем пришел? Чего надо?.. Сестра Воробья, солдатка, приманила!.. На себя бы ты поглядел!.. Тебе ли, лысому чорту, такими делами заниматься?.. Хоть бы людей-то постыдился, коли в тебе ни стыда нет,

ни совести! Ведь через тебя ссоры только в семье да брань: и то сегодня, через тебя, братья ее таскали... Да и тебе так не сойдет... Воробей с братом сами мне сказывали; попадись только им – тут тебе и голову положить! Они и день и ночь на сторожке, как бы только поймать тебя; может, и теперь уж укараулили...

– Все это сплетки одни; как пред богом, сплетки... – неуверенно и даже плаксиво проговорил Федот.

– Ладно, сплетки!.. А пока ступай от меня! проваливай! чтоб духу твоего здесь не было!..

– Дядя Карп, пусти переночевать, – сделай милость... Что ж я, чужой, тебе, что ли? – робко промолвил Федот.

– Вон ступай, бесстыжие твои глаза! Вон!

– Дядя Карп, сделай милость...

– Не пущу! – заключил Карп, выталкивая Федота, который пятился назад. – Вон ступай, говорю; вон, – и на глаза мне не показывайся!..

Карп запер ворота и возвратился на солому. Шуму никакого не было теперь слышно за плетнями; изредка, – и то едва приметно, – раздавался треск сухих стеблей, ломавшихся

под ногами, которыми, очевидно, переступали с большою осторожностью. Наконец все замолкло, кроме петухов, которые начали вдруг драть горло, почуяв полночь.

XXI

Но не успел Карп заснуть, шум в воротах снова привлек его внимание; на этот раз кто-то смело стучался.

– Кто тут? – с досадою крикнул старик.

– Я, дядя Карп! – отозвался голос Филиппа.

Карп поднялся на ноги и отворил ригу.

– Я затем к тебе в такую пору – не видать теперича... Не станут, значит, болтать... – сказал Филипп. – Слышь, дядюшка, вот дело какое: я, почитай, уж со всеми перемолвил, все в одном утвердились: до Кузьмы-Демьяна не отдавать оброка! Тут толковать нечего; знамо, не барину нужно; господа люди понятные; одна тут управительская воля. «Как, мол, хочу, так и верчу!» вот что! Управитель у нас новый; возьмет такую привычку – житья нам не будет... Мы вот на чем положили: известно, один человек упрется, ничего не сделает, – в рог согнут! А как миром что скажут, коли

весь мир в согласии, – тут хошь не хошь, ничего не возьмешь; с целой деревней ничего нельзя сделать; всех к становому не отправишь.

– Так-то так, Филипп, – отозвался старик, – не вышло бы только худо из этого...

– Эх! братец ты мой, говорю тебе – весь мир в согласии; главная причина, крепко только надо друг за дружку держаться! Мы чего добиваемся? Хотим держаться до поры возможности, чтобы время протянуть до срока; установится на хлеб цена настоящая, хлеб продадим, тогда и оброк бери... Так, что ли?

– Хорошо, как бы так-то...

– Главная причина, – подхватил Филипп с воодушевлением, – не выдавать друг друга! Примерно, хоть тебя спросят: «Зачем не продаешь хлеб?» – «Я, говори, ничего... мир не велит, всем миром так положили ждать до осени!...». Так все уговорились, я со всеми перетолковал; все на одном стоят: не продавать хлеба до Кузьмы-Демьяна, пока цена не устанется... Смотри, Карп, не выдавай; говори заодно со всеми...

– Кому убытки – мне разоренье, – сказал

Карп, – коли мне продать хлеб теперь, без цены, да из тех денег оброк отдать, ничего на избу не останется... Надо также и на зиму малость денег оставить...

– То-то же и есть!.. У тебя изба, у другого свои дела; у всякого так-то!.. Так слышь: как другие, так и ты делай; такой уж уговор; я затем и зашел к тебе, чтобы как, то есть, повернее... Ну, прощай, время идти... – заключил Филипп, суетливо выходя из риги.

Карп снова отправился на солому; но сколько ни ворочался он с боку на бок, на этот раз долго не мог заснуть; сон сморил его тогда только, как пропели вторые петухи.

На другой день вечером Карп, осмотрев свое озимое поле и оставшись очень доволен всходами, возвращался в Антоновку, когда недалеко от поворота в околицу услышал за собою трескотню тележки. Он оглянулся; узнав по гнедой вислоухой лошади владельца телеги, Карп остановился; лицо его заметно оживилось любопытством. Немного погодя телега с сидевшим в ней старостой Гаврилой поровнялась с Карпом.

Уже одна наружность Гаврилы свидетельствовала, что поездка его была крайне неуспешна; он сидел нахохлившись, как воробей после дождя; глаза его против обыкновения мрачно, недоброжелательно как-то поглядывали из-под шапки, пропускавшей большой клин клетчатого платка, которого он не думал поправлять.

– Что, как? – спросил Карп, следуя рядом с телегой, которая продолжала приближаться к околице.

– Эх! – был только ответ старосты.

– Худо, стало быть?

Гаврило тряхнул только шапкой.

– Напрасно, значит, съездил?

– Говорил тогда – нет, не верили! – вымолвил, наконец, староста. – Вышло все по-моему, как я говорил: ничего этого, о чем мы толковали, не берет в рассужденье!.. Только ругается... Грозит еще станového прислать...

Карп зачмокал губами, отнял руку от перекладки телеги и также нахохлился.

Таким образом вступили они в околицу.

Появление Гаврилы на улице произвело ожидаемое действие; многие увидели старосту – и слух о его возвращении мигом распространился по деревне. Едва подъехал он к избе своей и вылез из телеги, его окружила толпа еще многочисленнее той, которая стояла у магазина.

Все, что было взрослого в Антоновке, знало более или менее причину отъезда старосты, и все любопытствовало узнать, какой будет ответ из конторы.

В первые две-три минуты Гаврило не мог выговорить слова – его решительно затормошили; наконец, когда старые люди подали голос, призывая всех к молчанию, – Гаврило пе-

редал миру почти то же, что сообщил Карпу.

– Писарь, который вечер приезжал сюда, не соврал нам, – продолжал Гаврило, – точно, грамота такая пришла из Питера! Мне земский оказывал; он и письмо барина видел...

– Да ты сказал ли управителю, о чем мир просит? – неожиданно вмешался Филипп, просовываясь вперед.

До той минуты он молча стоял в толпе и только прислушивался.

– Ругается, кричит, – вот те и все тут! ничего не сделаешь! – ответил Гаврило, разводя руками, – знай только кричит: «станового пришлю!..»

– Эка невидаль! – перебил Филипп, – присылай, пожалуй! Мы становому то же скажем...

– Как же, станет он слушать! Он, знамо, управительскую руку держит, – вымолвил Гаврило, – что скажет ему управитель – тому и быть...

– Это как есть!.. Что он скажет, – тому и быть!.. Эх-ма... – слышалось отовсюду на разные тоны.

– Православные! – заговорил опять. Фи-

липп, с живостью обращаясь к толпе, – неужто взаправду разоряться? По-моему, вот что делать: самим к управителю ехать; выбрать из мира человек пяток и ехать... А коли не поможет, напишем тогда письмо к барину; из Коломны, по почте, чрез пять дней в Питер доставят... Это всего вернее... Помереть мне, коли все это дело не от управителя; помереть – коли барин об этом ведает...

Одобрительный говор пробежал в толпе.

– Православные! – крикнул ободренный Филипп, все более и более воодушевляясь, – выходи, братцы, кто к управителю поедет! Савелий, ступай сюда в круг, – обратился он к рослому смуглому мужику, стоявшему ближе других.

– Охотников без меня много... – проговорил Савелий, запинаясь и пятясь назад.

– Стегней, выходи! – крикнул Филипп другому мужику с оживленным, решительным выражением лица.

Живое и решительное лицо быстро скрылось в толпе.

– Кум Демьян, поедем! опаски никакой нет; удастся – ладно, не удастся – письмо на-

писать можно; поедем! выходи, становись в круг!..

Но кум Демьян, шумевший до сих пор столько же, сколько сам Филипп, был, по-видимому, другого мнения. Он глухо пробормотал что-то, и с этой минуты никто уже не слышал его голоса.

Филипп, у которого побелели губы, обратился еще к трем-четырем человекам, но так же безуспешно.

Толпою, где плечо одного чувствовало плечо другого, все надсаживали горло, выказывали смелость, решимость – и, казалось, готовы были города брать; но, странное дело? как только дело касалось каждой личности порознь, – едва требовалось проверить силу убеждений целого общества по силе убеждения каждого лица отдельно, – каждый, к кому ни обращались, напрямик отказывался действовать и даже назад пятился.

– Полно, Филипп! ничего из того не будет, – проговорил Гаврило, поглядывая на Филиппа, который, казалось, с трудом удерживал кипевшее в нем негодование.

– Известно, ничего не будет, когда сначала

ла все заодно, а как пришло к делу – все врозь, – сказал Филипп. – Испугались, что ли?.. – примолвил он, мрачно озираясь во круг.

– Что ты храбришься-то! ехал бы сам, коль охота есть! – иронически заметил Гаврило.

В толпе многие засмеялись. Это окончательно взорвало Филиппа.

– Что ж, и поеду, – сказал он, обмеривая глазами Гаврилу, – ты, может, ничего этого не сказал, как надобно, управителю... добре уж оченно страх взял!.. Потом приехал, рассказываешь! такое-то, мол, решение, – а тут тебе и поверили...

– Поверили! поверили! – перебил староста, передразнивая Филиппа, но вместе с тем из предосторожности отодвигаясь назад. – Поезжай сам, говорю, – авось сладишь...

Вместо ответа Филипп снова обратился к толпе:

– Что ж, православные, никто, стало, не едет?.. все от слова отступились!..

Каждый раз, как взгляд его куда-нибудь устремлялся, там тотчас же воцарялось молчание и в толпе заметно редело.

Филипп плюнул наземь, рванулся вперед и быстрыми шагами пошел к своему дому.

– Экой горячий! Бедовый!.. Рыжие и все такие-то!.. Куды бравый какой!.. – раздалось в толпе.

Общее мнение было таково, что Филипп нахвастал, – хотя до сих пор никто еще не мог привести случая, когда бы Филипп поступил таким образом. Вскоре об нем совсем забыли. Везде во всех отдельных кружках только и толку было, что об известии, привезенном Гаврилой, – о том, что такая уж, знать, напасть пришла, – и делать нечего: наступили, знать, времена такие тяжкие!

Между тем брат Филиппа и другие члены его семейства, которое было очень многочисленно, спешили возвратиться домой.

У видя, что Филипп не шутя готовится в путь, все приступили к нему, убеждая его не ехать. Но Филипп ничего не хотел слушать; он велел бабам идти в избу и оставил при себе только брата, с которым жил всегда очень дружно; они до сих пор ни разу даже не поссорились.

Брат начал в свою очередь убеждать Филиппа оставить свое намерение.

– Вот вздор какой! Чего ты опасешься? – возразил Филипп голосом, который показывал, что сердце его еще не улеглось и кипело остатком негодования.

– Боюсь, брат, не вышло бы худа из этого...

– Это насчет меня, думаешь? Ничего не будет! Каков ни есть управитель, он все же свой рассудок имеет; увидит – не пьяница я, не бунтовщик какой; приехал просить об настоящем деле.

– Хорошо, как послушает; сказывают, не

такой человек...

– Врет Гаврило! – нетерпеливо перебил Филипп. – Отсохни правая моя рука, коли не врёт! Сам рассуди: статочное ли дело, чтобы человек, какой он ни есть, слушать не стал, коли толком, настоящее говорят? Побожиться рад – Гаврило ничего этого, что надо было, не сказал управителю; такая уж душа соломенная! Не токмо перед управителем, другой раз и перед своим-то братом, – кто побойчее, – и то молчит... Ты ничего этого не опасайся. Приеду, скажу: так и так, повременить только просим до срока, – как по положению... цена устанется, – к Кузьме-Демьяну все как есть представим...

– Делай, как знаешь; я бы не поехал, – сказал брат.

– Это почему?

– Потому, если и ладно сойдет, послушает тебя управитель, – не стоят они того, чтобы хлопотать...

– Думаешь, за мир просить еду?... – с живостью произнес Филипп. – Нет, подождут теперича! Пускай опять Гаврилу посылают, – чорт с ними! Как знают, так пускай сами разделы-

ваются... Как только к делу пришло, все один за одним отступились... Еду за себя просить – за семью свою. Нам всего накладнее приходится; хлеба продашь вдвое – деньги выручишь те же: по семейству по нашему, давай бог, чтоб, при настоящей-то цене, на зиму хлеба достало, покупать не пришлось; потому больше и еду. Нет, разделявайся они как сами ведают!.. Я теперь, что хошь мне давай, – пальца не согну для мира – шабаш!..

Брат, побежденный отчасти такими доводами, не старался более удерживать Филиппа и помог ему даже запрячь лошадь.

Как только узнали в деревне об отъезде Филиппа, мнение об нем тотчас же переменялось. Даже те, которые на сходке подтрунивали над ним заодно с Гаврилой и говорили, что Филипп только хвастается и хвастает, не переставали теперь выхвалять его, величали его самым толковым, деловым и вместе с тем самым смелым мужиком деревни. Все домохозяева, повесившие было голову, снова исполнились надеждой и воспрянули духом – точно так же, как в то время, когда ждали возвращения Гаврилы. Деревня снова громко заговорила.

Гаврило, переходя из избы в другую, напрасно убеждал всех, что поездка Филиппа не принесет никакой пользы, кроме той разве, что его самого хорошенько проучат и сделают посмирнее, – что управитель, – если б даже не понуждало его к тому письмо барина, – совсем не таковский человек, чтобы стал кого-нибудь слушать; напрасно убеждал он покориться и приступить к сбору оброка, – никто не трогался с места; отовсюду встречал он

один ответ: «торопиться некуда; время терпит; дай Филиппу приехать, что Филипп скажет!»...

На другой день вечером напрасно, однако ж, прождали Филиппа: он не возвращался.

– Что ж бы это значило?.. – спрашивали друг друга соседи.

В доме самого Филиппа началась между тем тревога: мать, жена и сестры его одна за другой выбегали на дорогу за околицу; часто та или другая выжидали его там по целому часу. Беспокойство заметно также начало овладевать братом. На следующий день в доме Филиппа раздались всхлипыванья.

Прошел и этот день. Филипп все-таки не возвращался. Всхлипыванья в его доме превратились в громкий вопль. Брат начал было уговаривать мать и сестер, стараясь всячески их обнадежить, – ничего не помогало; к жене брата он уже не приступался; она лежала ничком на дворе и голосила, словно по покойнике.

Наконец на четвертый только день, поздно вечером, распространился слух, что Филипп приехал. Немного погодя стали разгла-

шать по деревне странные вести: говорили, будто Филипп, как только вышел из тележки, прямо отправился к себе в ригу; ни с кем из домашних он не поздоровался, никому даже слова не промолвил. Обрадованная жена, с которой жил он всегда ладно, бросилась было к нему с воплем, – он грубо отвел ее руками и сказал только: «Что тебе... давно, что ли, не видала?..» После того пошел он в ригу. Жена, мать и сестры последовали за ним, желая добиться какого-нибудь толку, – он всех разогнал, всем велел идти домой и допустил к себе одного брата. Войдя в ригу, Филипп с сердцем бросил наземь полушубок, бросил шапку и ничком повалился на солому. Два-три человека, которым потом удалось говорить с братом, спешили сообщить, что Филипп велел брату везти хлеб и продать его за первую цену, какую дадут.

– Стало, и нам то же делать! – был общий отзыв. Слух обо всем этом не замедлил, конечно, достигнуть ушей Карпа.

– Оброк не пуще велик, а много придется теперь за него хлеба отдать! – задумчиво промолвил старик, обратившись к сыну, который

передал ему общую весть. – Хлеба, который останется, – только на зиму хватит для семейства... Сколько ни считал я все эти дни, не выручишь денег тех, что за избу отдать надобно... Так, стало, тому и быть! – довершил он утрюмо.

Карп, точно так же как и остальные обыватели Антоновки, лишившись всякой надежды на благоприятный поворот дела, упал вдруг духом и толковал теперь о том только, чтобы насыпать возы и везти хлеб на продажу.

Так как пятнадцать рублей, получаемые Гаврилой в виде жалованья, засчитывались ему ежегодно в оброк, – староста на свой счет не очень сокрушался. Он тревожился тем только, что управитель того и смотри пришлет за ним и потребует отчет за медленный сбор мирского оброка. Движимый такою мыслью, он еще неусыпнее начал убеждать всех и каждого, что если уж вышло такое невзгодье, – откладывать нечего; чем скорее отдашь деньги, тем скорее отвяжешься от управительского надзора и неприятностей, которые грозят миру в случае промедления.

– Главная причина, в спокойствии тогда оставят, вот что! – повторял староста, – станем оттягивать – осерчает, уж это наверное так; пожалуй, еще станового пришлет... расправа начнется... что ж хорошего??

На этот раз никто не возражал ему; вместо смелых, бойких ответов он встречал одну молчаливую покорность.

Решено было всем миром понаведаться завтра же утром к Дроздову и условиться с ним насчет цен. Впрочем, это были одни только пустые разговоры; никто не сомневался, что все равно надо будет отдать хлеб за ту цену, которую назначит Дроздов.

То же самое ожидало крестьян, если б они повезли теперь хлеб в ближайшие уездные города. Купцы очень хорошо знают, что если мужик в такую пору приехал с хлебом, – видимое дело, его прижали, ему до зарезу надобны деньги; они спешат воспользоваться таким благоприятным обстоятельством и в свою очередь его прижимают. Городские кулаки еще плутоватее, еще неумолимее деревенских. Уже одно то, что крестьянин насыпает дома рожь настоящей мерой, а купец принимает ее по своей мере, несравненно большего объема, – заставляет всегда первого избегать продажи в городе.

На этом основании антоновцы решились прибегнуть к Дроздову; к тому же он проживал от деревни верстах в пяти всего-на-все.

Дроздов, или, лучше, Никанор, потому что так обыкновенно называл его народ, – был простой откупившийся на волю мужик, содержащий большую миткалевую фабрику.

В некоторых уездах средней России таких фабрик развелось – особенно в последние го-

ды – такое множество, что нет почти деревни, где бы не возвышалось неуклюжего бревенчатого строения, из которого с утра и до вечера слышится шум разматываемой бумаги и шелкотня ткацких станов. Над этими фабриками не существует ни присмотра, ни контроля; хозяева, обеспечивая себя ежегодно домашними расчетами с мелкими местными властями, – приобретают положение, которое ничем почти не отличается от положения начальников диких племен на самых отдаленных архипелагах Тихого океана. Самоуправство является здесь в полном своем безобразии. Хозяева по произволу изменяют заработную плату; назначается такая-то цена за основу; основа готова – хозяин переменял цену, и работник получает меньше того, на что рассчитывал. Бедные крестьяне соседних деревень посылают на фабрику своих девочек и мальчиков для размотки бумаги; нет возможности приходить всякий день за несколько верст и уходить вечером; дети ночуют на фабриках; все это спит где ни попало и вповалку; можете судить о том, что здесь происходит и как, по мере процветания фабрик, должна

процветать нравственность. Мало того, хозяева редко или, вернее, никогда не рассчитываются с народом на чистые деньги. Они покупают в городах залежалые партии сапогов, оптом скупают шапки, подмоченную соль, годовалую муку, перепревшую крупу и т. д. и рассчитываются таким материалом, ставя за него всегда втридорога против того, что стоит он им самим. Народ, следовательно, обут и одет скверно, ест худую пищу и постоянно без гроша денег.

Многие из этих хозяев владеют большими капиталами. Никанор принадлежал к числу последних. Впрочем, он продолжал только дело, начатое еще покойным его родителем.

Взглянув на лицо фабриканта, нельзя было поверить, чтобы мог он так успешно вести дела свои. Наружность Никанора ставила в тупик – так резко противоречила она его действиям. На всем свете не было, казалось, тупоумнее человека. Бесцветные навывкате глаза, как у разварной рыбы, смотрели мутно, как будто угасла в них способность осмысливать предметы; плоские, как щепки, волосы мертвенно висели по обеим сторонам пухлого, но крайне болезненного лица, окруженного редкими бакенами и такою же чахлой, жидкой бородкой; все черты выражали одну сонливость, вялость, неспособность. Все в нем было одно к одному; говорил он вяло, словно клещами хомут натягивал; ногами своими, обутиыми в башмаки, передвигал медленно, словно против воли. Ходил он всегда, запахиваясь в длинный бумажный набивной халат такого же почти грязновато-больного цвета, как и лицо его. Словом, не было возможности поверить, чтобы такой человек был на что-нибудь годен. Дела его между тем шли блистательно;

он ворочал такими деньгами, что ничего не значило ему усадить в своем приходе пятьдесят тысяч на постройку огромной кирпичной церкви с круглым зеленым куполом.

Это не мешало, однако ж, самому Никанору жить, как говорится, свинья-свиньей. Дом его, очень поместительный, с нижним этажом кирпичным, а верхом деревянным, был крыт железом и выкрашен зеленой краской, оставшейся от церковного купола. Внизу помещались подвалы для склада товара и контора. Верхний этаж из шести – семи комнат занимал Никанор с своим семейством.

Жил он собственно в одной только из этих комнат; остальные стояли пустыми; кое-где разве попадалась скамья или стояла кадучка с квашеной капустой, прижатой кирпичом. В комнате Никанора рамы не выставлялись со времени постройки дома; там с трудом можно было переводить дыхание; все смотрело до невероятности грязно – начиная с самой хозяйки и ее засушенных, золотушных детей и кончая зеленым, как словно прокислым, самоваром и стеклами окон, почти до темноты засиженными мухами.

У дверей, в высоком буром футляре, доходившем до потолка, чикали часы с циферблатом, размалеванным цветами; в углу стоял не прислоненный к стене диван, покрытый обдранной кожей: но боже было упаси сесть на него; особенною опасностью угрожали гвоздики и тесемка, обшивавшая кое-где кожу; под каждым гвоздем и складкой сидело, мирно приютясь, целое гнездо клопов. Все это, кроме, впрочем, дивана, который постоянно, годы целые, оставался на своем месте, чистилось и переставлялось раз в год – именно на страстной неделе перед светлым праздником; тогда целые ушаты воды разом проливались в этом втором этаже; хляск воды раздавался повсюду; вода, не находя себе выхода, скорее всего утекала в широкие щели кой-как сколоченного пола, удобряла земляную настилку и этим способом разводила мириады блох, которые несметными легионами появлялись уже к Святой.

Но Никанор и его семейство так сжились со всем этим, что всякое другое место показалось бы им крайне неудобным. Незачем было, следовательно, изменять порядка, начатого

блаженной памяти упокойным родителем, – порядка, которым удовлетворялся сын и, верно, будет удовлетворяться золотушное потомство.

XXVII

Карп был один из первых, который явился к Никанору. Войдя в контору, старик застал там хозяина. В конторе никого почти не было; стояли только две бабы и оборванная девочка, пришедшие за бумагой для размотки.

Тем не менее Никанор сделал вид, как будто не заметил вошедшего. Он никогда не кланялся первым простому мужику. Никанор прежде был проще; гордость напала на него с той самой поры, как воздвиг он церковь и к концу каждой обедни поминали его, как строителя храма, и подносили ему просвиру.

Карп подошел к прилавку, разделявшему контору на две половины, и поклонился.

– Чего надо? – спросил Никанор, едва поворачиваясь.

– Хлебца привез, Никанор Иваныч... десять четвертей: не возьмешь ли?.. – задобривающим голосом сказал Карп.

– Не надыть! – возразил фабрикант как бы сквозь сон.

– Что ж так?.. Возьми, сделай милость!..

– Столько хлеба навезли – девать некуда.

– Всего ведь десять четвертей!

– К тому же денег теперь нету... – начал было Никанор, но Карп перебил его:

– У тебя?.. У кого ж и быть деньгам-то!.. Возьми, пожалуйста!

– Пять с полтиной, – коротко и сухо проговорил, наконец, Никанор.

– Как, за четверть? – воскликнул Карп, между тем как фабрикант повернулся к нему боком и, казалось, перестал даже его слушать. – Побойся бога! к Кузьме-Демьяну четверть-то девять рублей стоит; три рубля с полтиной на четверть хочешь нажать... Бога ты побойся!

На мутном лице Никанора промелькнула тень пренебрежения.

– Чего ты пристал ко мне, – произнес он, не возвышая, однако ж, голоса, – говорю, не надо: вези куда знаешь... где сходнее...

В эту минуту батрачка позвала хозяина наверх; почти в то же время в контору вошел

еще мужичок из Антоновки.

Карп передал ему свой разговор с фабрикантом.

– Делать, знать, нечего, Карп Иваныч; отдать надо, – отвечал тот, – больше не даст; вчера уж трое из наших к нему приезжали; за ту же цену отдали.

– Знаю, сказывали мне, – вымолвил старик. – Я думал, посоветится, не надбавит ли каким случаем; потому и разговор такой повел с ним.

– Как же, жди от него совести, эх захотел!.. И я свои два воза за те же деньги ссыпал, делать-то нечего!..

С возвращением Никанора дело Карпа было кончено. Фабрикант, поручая приказчику сходить и смерить привезенную рожь, говорил так же сонливо, вяло и неохотно; казалось, он не подозревал даже, какой огромный оборот делал, скупая в настоящее время хлеб из Антоновки.

Получив деньги, Карп сел в пустую тележку и вместе с сыном, поместившимся на другой подводе, отправился домой.

Путем-дорогой старик принялся в сотый

раз сводить свои счета; он как будто все еще не доверял прежним своим соображениям и думал – авось-либо выйдет как-нибудь по-другому.

Нет, по-другому не выходило! Прежние расчеты были совершенно верны. Отдав пятьдесят два с полтиной оброку, отложив десять четвертей на зиму для семейства, Карп мог продать всего-на-все шесть четвертей ржи и четыре четверти овса. Как умом ни раскидывай, не было возможности, даже при самых счастливых обстоятельствах, выручить из этого столько денег, чтобы добавить Аксену за сруб, отдать плотникам за постройку избы, печнику за печь, – и мало ли еще сколько денег требуется при сооружении нового дома!

Касательно первого задатка, отданного Аксену, Карп не беспокоился; Аксен был известен своею честностью; старик ни на минуту не сомневался, что получит свои деньги. Но вот что неотступно его тревожило – тревожила мысль о втором задатке, о сером меринке, который, как на зло, приглянулся Аксену так, что последний им не нахваливался. Тут как быть? Как тут рассчитываться? Вернее всего,

Аксен оставит его за собою; ведь ему надо получить вознаграждение за убытки; на избу много было охотников; не случись Карпа, Аксен давно бы продал ее с барышами.

Карп так углубился в свои соображения, что поднял голову тогда только, как лошадь остановилась перед его воротами.

После дождя, лившего всю ночь и все утро, избенка как нарочно представлялась такой кислой, так грустно поглядывала на улицу своими крошечными окнами, полусгнившими углами и выдавшеюся мокрой стеною, что вчуже забирала жалость.

Понятно, такой вид не мог порадовать и развлечь ее владельца.

XXVIII

Время между тем шло своим чередом, свершая в природе обычные, неумолимо неизменные перевороты. Давно ли, кажется, поля, луга и рощи дышали таким оживленьем? Все это миновало! Первыми возвестниками наступающих холодов были, по обыкновению, ласточки; они отлетели с первыми морозными утренниками. За ними в похолодевшем воздухе пронеслись длинные белые нити тенетника; потом в светлом, хотя уже бледнозеленоватом небе, пролетели журавли, возбуждая отдаленным криком своим громкие возгласы деревенских мальчишек.

Давно ли, наконец, антоновская роща, одетая с макушки до корня зеленью клена, березы, орешника и разного рода кустарников, наполнялась веселым треском, свистом и пением каждый раз, как проникал в нее первый солнечный луч? Давно ли, кажется, было все это!.. Теперь, от маковки до корня, стоит она обнаженная, и хотя бы три раза в сутки начинался день, не пошлет уже ему, навстречу веселых, приветливых звуков. В серой, сквозя-

щей глубине роши мелькают одни голые стволы и перекрециваются во все стороны почерневшие обнаженные ветви. Вместо пролады отовсюду несет сыростью и крепким запахом опавших листьев, которые наполняют глубину кустарников и густо устилают дорогу. Изредка кое-где тоскливо, в разлад, чиликнет краснобрюхий снегирь или вдруг в стороне зашуршуют листья и через дорогу пугливо пробежит заяц. Все остальное, куда ни обращаются глаза, носит ту же печать опустения. Окрестность словно состарилась; колеи, которыми изрыты дороги, кажутся глубокими морщинами; речка, так долго отражавшая в последнее время свинцовые, серые тучи, усвоила навсегда как будто цвет их, отвечающий, впрочем, общему тону печали, которым окутались не только окрестности, но и самое небо.

Куда девался также веселый вид деревни, когда, бывало, при заходящем солнце ослепительно сверкают соломенные крыши избышек; когда старые ветлы, бросая через реку на луг длинные густые тени, постепенно зарумяниваются, покрываясь багрянцем заката; ко-

гда весь деревенский люд, высыпая в эту пору на улицу и – то уходя в сизую тень, бросаемую избушками, то выступая на свет – начинает петь песни и водить хороводы, играя на солнце яркоалыми и синими платками и рубашками... Куда все это делось! Антоновки узнать невозможно. Она также отжила, как будто вдруг состарилась. Стены избушек, вымоченные непрерывными дождями, так же почти черны, как улица, которая превратилась в грязь, замесилась и стала непроходимой; старые ветлы обнажили свои головастые пни, и ветви на них торчат кверху, как волосы на голове взъерошенного человека. Солома на крышах сделалась совсем серою и едва-едва отделяется теперь на сером небе.

Небо пока не шлет еще дождя, но в отдалении начинают уже клубиться тяжелые, мрачно-сизые тучи.

Дядя Карп, которого ненастье отрывало по минутно от начатой работы, спешил воспользоваться этим временем. Обрадованный, что перестал, наконец, дождик, он с помощью сына с утра еще выкатил две пустые кадки; они служили старику козлами для подмосток; приставленные к наружной стене избы и устланные досками, кадки давали Карпу возможность достать рукою почти до крыши.

Взгромоздившись на подмости, Карп старательно набивал глину в пазы и трещины избенки; он то и дело обращался к снохе, которая тут же в стороне мешала лопатую сырую глину. Бедная бабенка едва успевала управиться; с одной стороны кричал свекор, с другой поминутно высовывалась из окна свекровь с хозяйственными расспросами, с третьей – приводилось гнать Дуню, которая, несмотря на холод, никак не хотела идти в избу. По всей вероятности, Дуня согревалась Васькой; крепко перехватив брата поперек живота, она переносила его с одного плеча на другое; но как терпел Васька – это делалось

решительно непонятным! Мальчик перешел уже от багрового цвета в синий; но ничего однако ж; Васька не плакал; он только кряхтел и пыжился, и то, по-видимому, не столько от стужи, сколько от того, что вздрагивавшая сестра слишком уж сильно нажимала ему живот.

Подле другой стены, со стороны улицы, происходила также работа; Петр приваливал к стене солому, укрепляя ее жердями.

По мере того как с той и с другой стороны подвигалась работа, избушка принимала вид больной, хилой старушонки, которую обкладывают пластырями и кругом обвязывают и кутают.

На улице никого почти не было, кроме семейства Карпа. Изредка проходил кто-нибудь. Так прошла баба с ворохом не размотанной бумаги на спине. Поровнявшись с избою Карпа, она остановилась, поздоровалась со стариком и его снохою.

– Карп Иваныч, – сказала она, – тебе родственник твой Федот велел кланяться!

– Ну его совсем! – ворчливо проговорил старик, продолжая шлепать глиной.

– Ты, Дарья, откуда? – спросила сноха, – я думала, ты от Никанора.

– И то, оттуда; вишь, взяла ребятам размазывать! – возразила Дарья, встряхивая бумагой.

– Где ж ты Федота видела? Он ведь у Аксена живет; разве так повстречались?

– Нет, касатка, нанялся он теперь к Никанору; у Никанора живет в работниках.

При этом Карп сердитее только шлепнул глиной.

Немного спустя после ухода Дарьи место ее заступил маленький, живой мужичок с веснушками, который во время уборки ржи беседовал с Гаврилой.

Поглядев с минуту молча на работу Карпа, он, наконец, придвинулся.

– Ничего от этого, сват, теплее не будет, – оказал он, – я, как не было у меня новой избы, свою старую тоже глиной обмазал, – продувает; так-то продувает – хуже быть нельзя.

– Коли хорошо, крепко смазать – не продует! – отозвался Карп неохотно.

– Хуже, сват, право, хуже; тогда снутри преть начнет; у меня то же было; пойдут мо-

розы – в окнах, поверишь ли, вот какие сосульки намерзнут! – добавил мужичок, показывая от плеча до ладони.

Карп ничего не ответил.

– Сейчас, сват, к Филиппу заходил, – продолжал словоохотливый мужичок, – дома нету, уехал; сказывают – опять запил; года три за ним этого не было; зарок, сказывают, на себя наложил, чтоб не пить... Теперь опять, сказывают, зашибается... Э! да никак дождик?.. – промолвил он, подымая голову.

Карп, сноха и Петр, слышавшие весь этот разговор, сделали то же самое.

Серые тучи, которые бежали, казалось, над самую крышею, действительно начинали отделять дождевые капли; в то же время ветер сильнее зашевелил соломой.

– Прощай, сват! Надо скорей до дождя укрыться!.. – сказал мужичок, направляясь к избе, которая стояла на самом краю деревни.

Пока он приближался к дому, тучи, давно уже потоплявшие своею тенью окрестность, быстро надвигались на Антоновку. С каждой минутой местность, лежавшая за старыми ветлами, заслонялась и пропадала; вот и вет-

лы начали показываться как бы сквозь серую дымку и вскоре пропали; дождик заметно делался чаще и усиливался. В дальнем конце деревни кто-то, закутанный с головою, баба ли, мужик ли, разобрать было невозможно, — промелькнул через улицу.

На минуту можно еще было различать, как Карп, его сын и сноха бегали и суетились, убирая свои кадки; но и они не замедлили исчезнуть за частой сетью дождя, который, крутясь и двигаясь по воле ветра, ударил косым ливнем и заслони́л, наконец, самую Антонову.

ГЛАВА ВТОРАЯ БАРХАТНИК

XXX

Позвольте теперь перенести вас из унылой деревушки, утопающей в грязи и облитой дождем, прямо в центр Петербурга. Переход, конечно, очень резок; но тем лучше, мне кажется. Без контрастов и неожиданных переходов от худого к хорошему, от мрачного к веселому и обратно, не только романы и повести, но и самая жизнь была бы однообразна и, следовательно, невыносимо скучна.

Итак, поспешим войти через парадную дверь, в один из самых больших домов Малой Морской. Признаком, что дом при основании своем исключительно предназначался для помещения жильцов богатых или таких, которые во что бы ни стало хотели прослыть за богатыми, — служила широкая, устланная ковром лестница, украшенная каминами и швейцаром.

Нам незачем подыматься слишком высо-

ко; достаточно остановиться во втором этаже против двери с медной дощечкой, на которой награвировано: «Аркадий Андреевич Слободской».

Аркадий Андреевич вместе с домашней его обстановкой, – начиная с круга знакомых и кончая мебелью его обширной квартиры, – составляют главный предмет настоящего повествования. Мебель, особенно гостиная и кабинета, так великолепна, что, я уверен, если любое кресло перенести вдруг в Антоновку и поставить посреди улицы, ни один из тамошних обывателей ни за что не определил бы, что это за штука такая; сам приходский священник сильно бы затруднился дать ему вдруг, сразу, настоящее имя, и только разве после некоторого размышления мог бы решить, что изделию сему всего более подобает находиться в храме для замещения старинного седалища в алтаре.

Аркадий Андреевич был холост, любил роскошь и решительно не видел надобности себе в ней отказывать; у него было около семи тысяч душ, в числе которых, если не ошибаюсь, состояли также знакомые антоновские

души.

Часов в двенадцать утра в богато убранном кабинете Слободского находилось уже несколько посетителей. По мере того как приближался день, посетители умножались; многие являлись, впрочем, минут только на пять; спешно выкурив папироску, повертевшись перед камином, они так же скоро исчезали. Все входило совершенно бесцеремонно; брали со стола сигары и папиросы и во всем поступали как у себя дома. Кто усаживался, укладывая удобно ноги на соседнее кресло, кто попросту разваливался на кушетке против пылающего камина, кто расхаживал взад и вперед, пуская кверху дым, который расходился мутными, серыми клубами, потому что самое утро было мутно, серо и ненастно. Все они по большей части были товарищами Слободского по службе; некоторые, подобно ему, вышли в отставку; другие ходили в мундирах. Хозяин дома, заслонив себя от каминного жара стеклянными ширмами, располагался в вольтеровских креслах.

Это был человек лет двадцати восьми, с чертами лица чрезвычайно правильными и

красивыми, но уже заметно начинающими отцветать. Военная служба не оставила на нем ни малейшего отпечатка; он так же изящно одевался и так же свободно двигался в серых панталонах, сером жилете и серой жакете английского покроя, как будто век не носил другого платья; в приемах его не было ничего жесткого, натянутого, во всей фигуре его, начиная с маленьких, красивых ушей и кончая белой, нежной кистью руки, было что-то женственное, изнеженное. Он казался усталым, хотя всего час назад вышел из постели. Слободской не переставал говорить то с тем, то с другим из гостей своих; в голосе его и во взглядах проглядывало, однако ж, полнейшее равнодушие если не всегда к предмету беседы, то всегда почти к собеседнику.

Слободской далеко не был мизантропом; равнодушие его проистекало частью из жизненного опыта, частью из того также, что он никого не любил искренно из тех, с кем постоянно жил и в кругу которых ежедневно вращался. Выражение: «mon ami, – il n'y a pas d'amis!», изобретением которого был он очень доволен, повторялось им каждый раз, как

только слышал он слово – «друг». Слободской, тративший большие деньги на обеды, где за каждого приятеля приходилось иногда платить рублей тридцать и сорок, пожалел бы между тем десять целковых, чтобы спасти приятеля, которому случилось бы обкушаться на его обеде.

Он разделял своих знакомых и приятелей на три разряда. К первому принадлежали лица, которые в самом деле были к нему привязаны и любили его; до сих пор он встретил одного только такого; но и того убили на Кавказе. Ко второму разряду причислялись те, которые ездили к нему ради удобств, хороших сигар, надежды выгодно променять лошадь, занять денег или ради того также, что надо же деться куда-нибудь и вертеть языком – благо он существует; третий род приятелей состоял из лиц, которые положительно его ненавидели, но виделись с ним частью чтобы скрыть настоящие свои чувства, частью потому, что пошло, глупо расходиться с человеком, не имея, кроме затаенной ненависти, другой, более основательной причины.

Из числа последних не было, к счастью, ни

одного между посетителями настоящего утра: все они по большей части принадлежали ко второй категории. Несмотря на положительную глупость многих из них, каждый, по-видимому, в отношениях своих к Слободскому стоял на настоящей точке зрения; никто не обманывался в его чувствах; но никому, казалось, не было дела до этого, никто об этом не заботился; каждый думал о себе самом, о своем удобстве, о хорошей сигаре – и точно также чувствовал к хозяину самое полное равнодушие.

Все это нисколько не мешало вести самую короткую, дружескую беседу.

— По-моему, одно из самых главных, самых натуральных чувств человека — это чувство благодарности! — говорил Слободской, продолжая начатый разговор и преимущественно обращаясь к смуглому господину средних лет, лежавшему на кушетке с сигарою в зубах. — Человек, не имеющий такого чувства, на мои глаза, существо недоконченное, что-то вроде получеловека!.. И вот именно этого-то чувства, — невесело в этом сознаться, но надо говорить правду, — именно этого-то чувства не вижу я в нашем простом народе...

Господин, лежавший на кушетке, выразительно усмехнулся.

— Я говорю так решительно потому, что основываю свои суждения на собственном опыте, — продолжал Слободской. — При покойном отце крестьянам моим было так плохо, как хуже быть не может: отец почти безвыездно жил в Париже; в имениях распоряжались управляющие — грабили, разумеется, и разоряли крестьян до невозможности; когда я

вступил во владение именьями, первым делом моим было искоренить весь старый порядок и злоупотребления; я сменил управляющих, уничтожил барщину и посадил мужиков на оброк, зная, что такое положение для них несравненно легче барщины. Сотни, тысячи помещиков берут двадцать, двадцать пять рублей и более оброку; я назначил всего пятнадцать с семейства – с тягла, как там называют... Кажется, сделано было все, что только можно сделать! Какой же вышел результат? Крестьяне сделались только неисправнее; с первого же года до настоящей минуты я только и слышу, что о недоимках и недочетах, чего прежде, при отце, никогда не бывало!.. Далек идти незачем; я теперь более месяца без денег... Пишу, пишу, – недели проходят, прежде чем пришлют из той или другой конторы каких-нибудь четыре-пять тысяч! После всего этого поневоле придешь к убеждению, что при снисходительном, гуманном, как говорят теперь, управлении народ делается только неисправнее и балуется; управлять им, как видно, может только страх; горько сознаться – но это так!..

– Что ж вы хотите, Слободской, чтоб я сказал вам на это?.. – произнес небрежным тоном и по-французски господин, лежавший на кушетке, – мне отвечать нечего; вы по этому предмету давно знаете мои убеждения!..

XXXII

Убеждения этого господина заключались в том, что он называл Россию непроходимую тундрой и отвергал в русском народе, которого величал тунгусом, всякую способность к развитию. Происходя из чисто русской фамилии Ипатовых[6], он ненавидел все русское, и нельзя было лучше польстить ему, как сказав, что он по выговору, привычкам своим и наружности представляет совершеннейший тип француза или англичанина. Не имея понятия о самых главных, основных фактах отечественной истории – фактах, известных почти каждому школьнику, не прочитав во всю жизнь ни одной русской книги, потому что, как сам он говорил, вся русская литература не стоила маленькой комедии Октава Фелье или пословицы Мюссе, оставаясь так же равнодушен, как какой-нибудь японец, к са-

мым живым событиям, совершающимся в отечестве, – он в то же время с невероятною жадностью поглощал иностранные газеты, revues и брошюры.

Трудно найти человека, который был бы сильнее Ипатова, когда речь заходила об административном, политическом или финансовом вопросе Европы. Он знал имена всех замечательных деятелей континента и Британии и мог сообщать мельчайшие подробности из их биографии. Прения верхней и нижней палаты, виды английской политики, подробности касательно борьбы вигов и тори, направление наполеоновской политики, отношение французского государства к восточному и итальянскому вопросу, политическое состояние Австрии и Германии – все это занимало Ипатова и действительно знакомо было ему в той самой степени, как мало знакома была Россия и вообще все отечественное.

Всего замечательнее, что Ипатов никогда не бывал за границей; всю свою жизнь провел он в Петербурге, изредка посещая Москву, чтобы повидаться с теткой, над которой громко всегда смеялся, называя ее княгиней Хал-

диной.

Он проводил время, читая или рыская по гостиным, где на изящнейшем французском наречии рассказывал о ходе современных европейских дел и каждый раз, как представлялся случай, проливал потоки желчи, кося на чем свет стоит Россию.

Предположение, будто основанием желчи служило оскорбленное самолюбие, совершенно несправедливо; с самой юности до настоящего времени не произошло с Ипатовым решительно ничего такого, что хотя бы кончиком волоска могло задеть его самолюбие. Другие слагали причину его желчи и раздражительности на бедность, которую скрывал Ипатов тщательнее своих пороков, но и это неосновательно; Россия виновата была в этом, конечно, никак не более Англии, Франции, Германии и т. д.

В последнее время Ипатов сделался еще заметно терпимее; прежде он был решительно невыносим. Мания его к чужеземному доходила до того, что он никогда ни с кем не хотел слова сказать по-русски; так, например, во время обеда, желая выпить стакан воды, он

обращался всегда к соседу и говорил по-французски: «Сделайте милость, скажите лакею, чтобы налил мне воды!»

Я сам лично был свидетелем такого факта; хотите – верьте, хотите – нет!

XXXIII

– Я давно слышал, – продолжал Слободской, закуривая новую сигару и опрокидываясь на спинку кресел, – будто вся эта дикость, недобросовестность – словом, весь этот нравственный упадок народа происходит от крепостного состояния; я не защищаю его – нет; но все-таки желательно бы знать, – подхватил он, пуская струю дыма, – почему, несмотря на крепостное состояние, которое началось не на прошлой неделе, в прежнее время шло как-то исправнее; самый народ был лучше и нравственнее?..

– Полно, пожалуйста, Слободской! – с жаром заговорил белокурый молодой человек, до сих пор ходивший молча по кабинету. – Удивляюсь только, как можешь ты это говорить! Что теперь худо – никто в этом не сомневается; но что прежде было хуже – это так

же верно, как то, что ты теперь в Малой Морской; дело в том, что прежде жили мы в неведении счастливом, как говорится, – о России понятия не имели; все было от нас шито да крыто; теперь начинает мы мало-помалу с ней знакомиться...

Ипатов прислушивался к речи молодого человека как к чему-то очень забавному и вместе с тем достойному сожаления; он считал всегда, что знакомство с Россией достигнуто в совершенстве, когда произнесешь слово – «тундра»; по его мнению, это легче было, чем выкурить папироску.

– Да, я утверждаю, – подхватил тот же молодой человек с прежним оживлением, – всему виновато крепостное состояние; только оно одно могло постепенно привести в такой упадок нравственность крестьянина...

– Эх, досадно, право, слушать, – сказал, нетерпеливо вставая, плотный кавалерийский ротмистр с рыжими бакенами, расходившимися веером, – у меня даже кровь в голову бросается, когда он начинает проповедывать! Знаете ли вы, Лиговской, что русский мужик во сто крат счастливее меня с вами –

да-с!..

– Вот это прекрасно...

– Да, счастливее, – подхватил ротмистр, багровея. – Что ему делается! Хлебает себе щи, пичкает с утра до вечера пироги и сметану да на печке валяется... А тут, подле, жена... какая-нибудь толстая, белая, румяная баба...

Все засмеялись, кроме Лиговского.

– Превосходно знаете вы, стало быть, положение нашего простолюдина, – произнес он. – Не только не ест он пирогов, но часто нечем печь истопить – ту печь, на которой, по словам вашим, он весь день валяется!.. Слава богу, мы начинаем теперь иначе смотреть на вещи; я думаю, нет теперь человека, который не ждал бы ото всей души скорого уничтожения крепостного права; я уверен, что как только...

– Лиговской! Лиговской!.. – смеясь, закричал хозяин дома, указывая на верхний косяк двери. – Лиговской, посмотри... Ты, кажется, знаешь правило!..

К верхнему косяку пришпилен был булавкой кусок бумаги с крупной надписью: «Здесь не говорят об эманципации!»

– Скажи-ка лучше, – подхватил Слободской, – ты, который часто видишься с Берестовым, – разыграл ли он свою комедию, разошелся ли, наконец, со своей танцоркой?

– Нет, каждый день ссорятся, расходятся, потом мирятся и, снова сходятся – совершенно как старый Исаакиевский мост, – отвечал рассеянно Лиговской, – мне кажется, они век проживут таким образом.

– С этими барынями всегда легче сойтись, чем разойтись... – сказал Слободской. – Сначала они ни за что как будто не хотят начинать; потом, как начнут, ни за что не хотят кончить! Это всегдашняя история... Скажи, пожалуйста, ну а граф Пирх все еще влюблен?

– Разве он у тебя не бывает?

– Бывает, но только давно что-то блистает своим отсутствием.

– Влюблен по-прежнему! Утром проезжает своих лошадей мимо ее окон; в шесть часов вечера провожает ее карету до театра; после театра торчит на театральном подъезде...

– Но как дело его? идет успешно?

– Кажется; не знаю только, чем кончится.

– Ничем не кончится! – заметил рот-

мистр. – Пирх вконец промотался – даром что немец; говорят, он даже долгов не платит...

– Ну, это еще не доказательство! Долги платят теперь одни только наследники... и то в первое время своего богатства... Увидите, господа, Пирх достигнет своей цели; там, где другой берет браслетами, Пирх возьмет терпением... И наконец, что ж мудреного: оба они могут быть влюблены друг в друга...

– Какая тут любовь! – перебил Лиговской с тем же самым жаром, как говорил об эманципации и состоянии народа, – какая любовь! если есть что-нибудь у них – так просто обмен двух капризов.

– Ну, прощайте, господа! – сказал Ипатов, приподымаясь с кушетки. – Как скоро речь зашла о балете и театре, вы, по обыкновению, никогда не кончите, – прощайте, Слободской!..

– Прощайте! я тоже ухожу, – вымолвил ротмистр, пристегивая палаш. – Ты не забыл, Слободской, что обещал сегодня Острейху приехать посмотреть его лошадей?

– Нет; но стоит ли? Хороши ли лошади?

– Знатные есть кони! Я купил у него верхо-

вую.

– Доволен?

– Не совсем... Лошадь во всех статьях красива, – проговорил ротмистр, насупливая брови, – но я погорячился; нахожу в ней сухость какую-то в аллюре; своего, природного в ней мало... Понимаешь, братец, – нет под седлом фантазии; фантазии нет! Так ты приедешь?

– Да, в три часа, как обещал, – отвечал Слободской, поглядывая на булевские часы, украшавшие камин.

XXXIV

Выходя из кабинета, Ипатов и ротмистр встретили в дверях камердинера, который нес на подносе несколько конвертов, запечатанных казенною печатью.

– Сейчас с почты принесли, – проговорил камердинер, подавая их барину.

Слободской распечатал одну повестку за другою, бегло взглянул на цифру, потом придвинулся к столу, черкнул на обратной стороне доверенность на имя камердинера и велел ему, не медля ни минуты, съездить сначала в полицию для удостоверения подписи, потом

в почтаamt для получения денег.

Камердинер вышел.

В общей сложности, повестки объявляли о получении из разных губерний суммы в пять тысяч. Слободской ждал гораздо больше: в другое время он жестоко бы рассердился и тотчас же написал бы громовое письмо в главную свою контору. Но нынешнее утро застало его в хорошем расположении духа. Это обстоятельство спасло главную контору, а следовательно, и все, что находилось в ее зависимости, от передраг, суеты, беспокойств и даже притеснений всякого рода.

Слезно прибегаем к провидению, моля его продлить хорошее расположение духа Аркадия Андреевича Слободского.

– Слушай, Лиговской, – сказал Слободской, поворачивая кресла к молодому человеку, который стоял спиною к камину, расправив в обе стороны фалды сюртука, – я ждал ухода Ипатова и милейшего из ротмистров, чтобы пригласить тебя сегодня в ложу.

– Спасибо; все та же ложа – литера Ц с левой стороны?

– Да. Так ты приедешь?

– Непременно; но скажи, пожалуйста, – весело подхватил Лиговской, – как идут твои собственные дела с маленькой Никошиной?... О других ты расспрашиваешь, о себе никогда ничего не скажешь...

– Мои дела, – смеясь, возразил Слободской, – мои дела пока еще в будущем! Они ограничиваются утром – прогулкой по Театральной улице...

– Говорят – улица любви! – с комическим укором подсказал Лиговской. – Вступив в круг театралов, ты должен говорить их языком и называть вещи настоящим их именем.

– Вечером, когда балет, – продолжал Слободской, – сижу в ложе, где у нас происходит стрельба...

– Которая, прибавь, идет очень удовлетворительно; в прошлый вторник я сидел в креслах; едва вошел ты в ложу – она не спускала с тебя глаз; стоя за кулисами, она так же исправно на тебя постреливала... Прелесть, какая миленькая девочка! Но я не об этом... Мне хотелось узнать, не приступишь ли ты к более действительным мерам?

– Нет еще; до сих пор не мог даже хоро-

шенько узнать, есть ли у нее какая-нибудь родственная обстановка...

– Да, это статья не последняя!

– Еще бы!

– Надо бы попросить барыню Берестова разузнать об этом... Но, впрочем, вот и Дим! Спроси у него. Здравствуй, Дим!..

XXXV

Восклицание это относилось к молодому человеку лет двадцати трех, худенькому, тщедушному, но с приятным лицом, исполненным огня и одушевления, не совсем обыкновенных. В юноше этом было что-то особенное – какая-то внутренняя притягательная сила, которая невольно влекла к нему и располагала в его пользу.

Он действительно любим был всеми, кто только знал его, – начиная с лиц высшего общества, к которому принадлежал он, и кончая скромными кружками бедных студентов и художников. Лучшим доказательством хорошей природы его служило то, что всеобщее баловство и своего рода популярность не имели на него никакого действия; он был скром-

нее, проще и добродушнее многих никому неизвестных юношей, с которыми водил дружбу и которая, скажем мимоходом, сильно не нравилась его отцу, матери и другим родственникам.

Предрассудки и обстоятельства, его окружавшие, служили с ранних лет преградой всем его стремлениям, не дали развиться ни одному из его талантов, лишили его всякого направления; он ни на чем не остановился. А между тем уже по одному тому, за что брался он иногда, видно было, что могло бы выйти из него при других условиях. Никогда не учась рисовать, он набрасывал эскизы и композиции, которые обличали богато одаренное воображение и сильное артистическое чутье; не учась никогда музыке, он бегло разыгрывал *a livre ouvert* какие угодно пассажи, играл на память целые оперы; врожденное музыкальное дарование высказывалось в его вкусе, в способности быстро понимать и сильно чувствовать истинно хорошее – даже в манере петь романсы, которые передавал он часто лучше многих известных артистов. Артистическая природа еще сильнее выказывалась в

его разговоре, отличавшемся живописностью и пластикой: двумя-тремя меткими выражениями умел он обрисовать живую фигуру или перенести слушателя в тот круг, который хотел изобразить. Принимаясь за книгу случайно, урывками, он прочел очень много: и здесь точно так же выбор его – показывал вкус и верное чутье. Словом, если б разделить дарования этого юноши между пятью французами и пятью англичанами, – вышло бы, наверное, десять замечательных людей. Из Дима ничего не вышло; вышел только милый, умный, занимательный малый, который с шестнадцати лет рисовал карикатуры в альбомы барынь высшего круга, пел романсы и цыганские песни в обществе камелий, был необходимым членом всех холостых обедов и попоек, являлся на всех загородных гуляньях, скачках и празднествах, на всех вечерах и пикниках с актрисами, лоретками и цыганками, – где снова пел романсы, танцевал, производил комические спичи ипил наравне с самыми застарелыми питухами веселых сборищ.

Папенька его в это время неизбежно сидел

в английском клубе, где провел более двадцати лет своего существования; маменька, которой давно минуло за сорок, сидела в театре или, разряженная в пух и прах, в *manches courtes* и *decolletee*, вертелась на каком-нибудь бале, окруженная роем молодых людей, в числе которых один особенно отличался всегда своим постоянством.

Дим, настоящее имя которого было Дмитрий, а фамилия граф Волынский, вошел не один к Слободскому. Его сопровождал тоже молодой человек, но только плотный, коренастый, с крутыми огромными икрами, выпяченной грудью, коротенькой шеей и шарообразною головою, обстриженной под гребенку. Господин этот, по фамилии Свинцов, был фанатическим поклонником Волынского; он точно влюблен был в него до идиотства; он не отставал от него ни на шаг, стремительно летел туда, где мог быть Волынский, – словом, не мог без него обходиться; каждое слово Волынского, каждая его выходка, каждая плохая острота имели свойство приводить Свинцова в восторг и восхищение неописанные.

– Здравствуй, Дим! ты как нельзя кстати, –

сказал Слободской, здороваясь с Волынским и пожимая руку Свинцову, которого называл всегда субъектом, вполне достойным своей фамилии, – мы говорили здесь с Лиговским о Фанни Никошиной...

– За которой он зверски ухаживает, хотя и скрывает это! – подсказал Лиговской.

– Положим!.. – перебил Слободской. – Я до сих пор не знаю, есть ли у ней родня какая-нибудь, папенька, маменька, бабушки, тетушки и т. д. – проговорил он с комической интонацией.

– Если ты точно влюблен – не испытывай, пожалуйста, моей деликатности, – сказал Дим, улыбаясь, – спроси лучше, хорошенькие ли у ней ножки; мне в тысячу раз приятнее будет тебе ответить...

– О ее ножках я и без тебя знаю!.. Из того, что ты говоришь, я должен, следовательно, заключить, что Фанни обременена многочисленным и, вдобавок, что всего прискорбнее, добродетельным семейством...

Вместо ответа Волынский подошел к роялю, сел на табурет и взял несколько аккордов.

Свинцов засуетился, поспешно поставил

каска и подошел к роялю.

– Я лучше спою вам вещь, которую оба вы, и ты и Лиговской, верно, не слышали...

– О, это превосходно!.. Восхитительно!.. Как он поет это, господа!.. Послушайте, это просто – просто восхитительно! – произнес Свинцов, сияя весь с головы до ног бессмысленным восторгом.

– Свинцов, я уже сказал, тебе раз навсегда, – меньше восторга и больше скромности в отношении ко мне, – сказал Волынский, откашливаясь.

– Что это такое? – спросили Лиговской и хозяин дома.

– «La chanson du pain» Пьера Дюпона:

Quand dans l'air et sur la riviere De moulins se tait le tic-tac...

– Слушайте!

Но не успел он спеть первой фразы, как в кабинете неожиданно явилось новое лицо.

На этот раз предстал господин лет уже под пятьдесят, высокий, плотный, в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, по-военному. Лицо его, брюзглое и морщинистое, как печеное яблоко, украшалось сверху коротко обстриженными волосами, посредине круто завинченными усами; и то и другое было так дурно выкрашено черною краской, что всюду просвечивала седина и рыжеватый корень; золотые очки и коричневые перчатки, которые так были широки, что сами собою сползали с пальцев, дополняли его наружный вид.

– А, князь! – закричали присутствующие в один голос.

– Bonjour! – отвечал с каким-то недовольным, нахмуренным выражением князь, поочередно пожимая всем руки.

– Что с вами? Вы сегодня, кажется, не в духе, – спросил Слободской.

– Нет... ничего... – возразил князь, насупливая брови.

– Полно врать, пожалуйста! – крикнул Во-

лынский, который со всеми решительно, даже с дряхлыми стариками, был на ты, – все знают, что такое!..

– Если знаете, стало быть, спрашивать нечего! – сухо возразил князь, принимаясь ходить из угла в угол по кабинету.

– Сам рассуди, братец, – начал Волынский умышленно серьезным тоном, – как же ты хочешь, чтобы Фисочка Вишнякова, которой, скажем мимоходом, протежируешь ты чорт знает из чего, нашла себе обожателя? Не сам ли ты уверил ее, что у нее есть талант, бегал к театральному начальству и хлопотал, чтобы перевели ее из балета в Александрийский театр; кто ее там увидит? Остаься она в балете – другое дело!.. И, наконец, талант ее совсем не из тех, который может обратить на нее внимание...

– Совсем не о таланте речь! – с жаром заговорил князь, – я говорю только, – вот девушка с самыми блистательными условиями, молоденькая, хорошенькая, ангельски кроткого характера, не имеющая никакого родства, кроме старой бабушки, которая безвыездно живет в Кронштадте, и при всем том девушка

эта никого не находит, кто бы обратил на нее внимание! Да знаете ли вы: elle n'a pas de chemises! – понижая голос и с сильным драматическим оттенком добавил князь, не замечавший, что присутствующие переглядывались и посмеивались.

– Ну, так купи ей дюжину рубашек – и делу конец! – сказал Волынский.

– Не могу же я одевать всю дирекцию! – возразил князь патетически, – да, господа, это просто срам! – подхватил он с возраставшим негодованием. – В прежнее время этого бы не случилось! Нынешняя молодежь – просто дрянь!.. Да!.. Это какие-то вялые сосульки, и больше ничего! Я не могу говорить... об этом равнодушно... Это... просто чорт знает что такое!

Всего замечательнее было то, что князь в негодовании своем был как нельзя более искренен. Проведя более тридцати лет в театральном обществе, в пользу которого отказался от своего собственного, он так с ним сблизился и сроднился, так усвоил себе закулисную точку зрения, что не шутя принимал к сердцу судьбу каждой неустроенной моло-

денькой танцовщицы или актрисы; он бился и хлопотал изо всей мочи, чтобы как-нибудь уладить дело. Для этого он давал у себя обеды, устраивал танцевальные вечера, куда приглашалась молодежь и театральные дамы, сочинял пикники, составлял в летнее время разные увеселительные прогулки, катанья в лодках и проч. и проч. Князь крестил почти во всех устроенных им семействах. Когда, с его точки зрения – которая, как мы уже сказали, была закулисная точка зрения, – удавалось ему устроить судьбу какой-нибудь Ашеньки, Пашеньки или Глашеньки, он на несколько дней совершенно перерождался, расправлял брови, не переставал мурлыкать под нос какие-то песенки и крепко потирал ладонями от восхищенья; весело постукивая тростью по плитам невского тротуара, князь подходил тогда к каждому знакомому и, радостно потирая руками, произносил:

– L'affaire est arrangee! Nous avons bacle l'affaire!

XXXVII

— Знаешь, князь, – сказал Волынский, перебирая клавиши, – не шутя тебе советую – напусти-ка ты старого Галича на свою protegee...

– Ну его, старого шута!

– Представьте, господа, этот старикашка, Галич, не шутя, кажется, рехнулся! – сказал Волынский. – Вчера сидел я с ним в ложе князя; на сцену выходит Цветкова; клянусь вам, она ни разу на нас не взглянула; напротив, умышленно даже отворачивалась; князь, который на том свете ответит за Галича, потому что первый втравил его в театр и волокитство, – князь говорит ему: «Ты ничего не замечаешь, она с тебя глаз не сводит!» Смотрю, Галич закрыл вдруг глаза, припал головою к перегородке ложи и, пожимая нам нежно руки, проговорил глухим, потухающим голосом: «Merci, merci!..»

Все засмеялись. Сам князь улыбнулся и с той минуты словно повеселел.

– Но лучше всего, это история с поэмой...

– Какой поэмой? – спросил Лиговской.

– Как! разве ты не знаешь?

– Нет.

– Галич, которого опять-таки подбил князь, сунулся на подъезд актеров после спектакля и сказал Цветковой какой-то комплимент... Та что-то ему ответила, надо думать, приятное, потому что Галич в тот же вечер полетел к старухе, сестре своей, и наотрез объявил ей о своем намерении жениться на Цветковой! Бедная старуха, говорят, покатила на диван, и часа два не могли привести ее в чувство... Дня четыре назад сидим мы после обеда у князя, – является Галич. В жизни не видал я более уморительной и вместе с тем жалкой фигуры...

Волынский подогнул колени, повесил голову набок и так поразительно живо представил Галича, что все снова разразились смехом.

– Князь, которому Галич сообщил уже свою поэму в честь Цветковой, начал его упрашивать прочесть нам ее; я думал, старик начнет ломаться, – ничуть не бывало! Он берет восторженную, самодовольную позу и начинает декламировать... Больше всего, – про-

молвил, смеясь, Волынский, – больше всего понравились мне следующие стихи:

Я на Арарат ее поставлю И весь мир думать заставлю: «Вот та, которую я люблю!!»

– Не правда ли, это прелесть! я тотчас же и музыку сочинил... Что-то торжественное, во вкусе марша Черномора из «Руслана и Людмилы»... – заключил Волынский, подходя к роялю в сопровождении Свинцова.

– Пой, я пока оденусь: меня ждут в три часа, – сказал Слободской, направляясь к уборной.

Он возвратился, однако ж, увидев камердинера, входившего с толстыми пакетами, запечатанными пятью печатями.

Слободской сорвал обертки, положил деньги в стол и, заперев его ключиком, который носил всегда в кармане, ушел в уборную.

В продолжение четверти часа долетали до его слуха звуки фортепиано и пение, прерываемое время от времени криками «браво» и громким хлопаньем.

– Господа, – произнес Слободской, выходя в кабинет совсем уже одетый, – я предлагаю вам сделать мне сегодня маленькое удоволь-

ствие... Сегодня, как вам известно, балет; приезжайте все ко мне в ложу; ложа обыкновенная – литера Ц с левой стороны.

– Господа, – вмешался Лиговской, – отказать ему нет возможности! Знаете сами, какой день сегодня; сегодня Фанни Никошина, – нечего объяснять вам, какое значение имеет она для хозяина дома сего, – Фанни танцует сегодня свое первое па... Это некоторым образом ее дебют!

– Еще бы! непременно! Просить нечего! – заговорили присутствующие, с участием окружая Слободского, который смеялся, как человек, которому ничего больше не оставалось делать.

– Господа, да будет вам известно, – сказал окончательно развеселившийся князь, – я приеду в ложу первым; без букета никто не пропускается; «с'est de rigueur!»

– Спасибо, князь! – вымолвил Слободской, – я прошу вас об этом, господа, не столько для своих целей, сколько, не шутя, для того, что надо же поощрить молоденький, начинающий талант.

– Знаем! знаем! – заметил Волынский. Все

снова засмеялись.

Слободской позвонил, открыл ящик в столе и вынул несколько ассигнаций.

– Сходи сию же минуту к Казанскому собору в цветочную лавку, – сказал он, подавая деньги вошедшему камердинеру, – спроси два лучших букета из белых камелий – не забудь: белых камелий! Скажи только хозяину: для господина Слободского, – он знает! А что, коляска готова?

– Готова.

– Ну, господа, извините; надо ехать; дал слово, – заключил он, поглядывая на часы.

Все взялись за шляпы и вышли из кабинета вместе с хозяином дома.

XXXVIII

Острейх жил в Сергиевской. Слободской проскакал, следовательно, по всему Невскому и Литейной в тот час именно, когда на первой из этих улиц, даже в дурную погоду, бывает особеннолюдно. Коляска произвела свой всегдашний эффект.

Он имел обыкновение выезжать на страшной паре вороных, которых охотники называли «чертями и дьяволами», а остальные смертные – «лошадьми непозволительного свойства», – и при этом всегда бранили полицию, позволяющую скакать по городу во все лопатки. Такие жалобы не совсем были справедливы; полиция нисколько не была виновата, что коляска Слободского опрокидывала извозчичьи дрожки, раз задела четырех подмастерьев со шкапом на голове, а раз совсем сбила с ног и чуть не задавила какую-то старушку, проходившую через улицу. Полиция неоднократно отбирала лошадей у Слободского. Слободской ограничивался тем, что сменял кучера, покупал новую отличную пару, променивал ее на свою прежнюю, и снова

«черти и дьяволы» появлялись на Невском.

Слободской вовсе не думал встретить у Острейха многочисленную компанию. Когда он приехал, общество находилось в конюшне: там началась уже выводка и продажа.

На свою долю Слободской купил маленького английского пони; он вовсе не был ему нужен, но так уж пришлось, – с языка сорвалось, как говорится. Приобретение пони внушило Слободскому мысль заказать легонький кабриолет, в котором, не обременяя маленького коня и сидя только с грумом[7], можно было бы ездить в летнее время на острова и посещать мыс Елагина острова. С такою мыслью Слободской, привыкший исполнять свои прихоти и фантазии тотчас же, не откладывая минуты, отправился к своему каретнику.

Оттуда проехал он в Большую Миллионную к сестре, с которой не видался более восьми дней.

Сестра его была женою великолепного, блистательного господина, который задавал каждую зиму роскошные балы и праздники, куда съезжался весь город, но который вместе с тем сидел постоянно без гроша денег, так

что в последние два года, несмотря на строжайшие предписания докторов, не находил никакой возможности отправить жену и детей в Гапсаль для излечения здоровья.

От сестры Слободской проехал к одной светской даме, которой говорил «вы» при муже и «ты», когда супруг находился в отлучке. Он ехал к ней единственно с тою целью, чтобы только показаться на глаза и этим способом избавить себя, хоть на время, от преследований и длинных писем, исполненных опасений, упреков, и часто, — что было всего невыносимее, — писем, закапанных слезами. Связь эта, продолжавшаяся всего десять месяцев, но стоившая ему три года постоянных и почти безнадежных ухаживаний, страх теперь ему прискучила и была в тягость. Он бросился в театральство и распускал слух о волокитстве за маленькой Фанни, в той надежде, что это, по всей вероятности, дойдет до дамы его сердца и ускорит между ними разрыв.

Узнав от швейцара, что барина нет дома, но барыня принимает, Слободской, который прежде после такого известия радостно взбе-

гал по лестнице, страшно теперь надулся. Он надулся еще более, застав барыню совершенно одну. «Хоть бы лакей какой-нибудь торчал в дверях!..» – досадливо подумал он, ожидая начала докучливых объяснении. Он не ошибся: действительно, началась одна из тех сцен, когда женщина, чувствуя себя оскорбленной, но столько еще любящая, что мысль о разлуке тяжелей всего переносится, забывает вдруг всю мелочь самолюбия и явно, не скрываясь, отдается своему горю. Но странно, чем справедливее были ее упреки, чем обильней лились слезы, тем более и более ожесточалось сердце Слободского, тем сильнее разгоралось в его груди чувство досады и даже злобы. Наконец он встал, произнес мелодраматическим тоном: «Encore des larmes, madame! Encore des reproches! C'est horrible vraiment!..» – и торопливо вышел.

Он заехал еще в два дома, чтобы оставить карточку, и велел везти себя как можно скорее в Малую Морскую. Ему оставалось ровно столько времени, чтобы успеть переодеться. Он ехал на полуофициальный именинный обед, который можно было бы назвать обедом

проклятий, потому что тот, кто давал обед, проклинал его еще за три дня, – и те, которых звали, также проклинали его в свою очередь.

Тем не менее обед прошел как нельзя лучше, хозяин и хозяйка дома были очаровательно любезны, гости также; и все весело встали из-за стола, помышляя об одном только: как бы поскорее удрать, не обижая хозяина, который, с своей стороны, думал, как бы только поскорее освободиться!

Слободской ускользнул первым. Он заехал опять домой и снова переоделся.

– В Большой театр! – закричал он, влезая в карету, которая стремглав понеслась, едва захлопнулись дверцы.

Туман, который опустился на Петербург часам к семи, был так густ, что карета несколько раз должна была останавливаться, – частью, чтобы не налететь на другие экипажи, катившие по тому же направлению, – частью потому также, что лошади скользили и спотыкались на торце, увлажненном сыростью. На театральной площади было еще хуже. Сотни экипажей стремительно неслись на площадь и храбро врезывались в туман-

ную мглу, которая ходила волнами и постепенно сгущалась; ничего нельзя было различить. Слышались только со всех сторон крики, неистовый грохот колес и быстрый лошадиный топот.

Большой возни и суматохи не могло быть, кажется, на дне Красного моря, когда волны его, расступившись стеною, вдруг сомкнулись и закрыли фараоново войско.

Все это выпутывалось каким-то чудом и подкатывало к ярко освещенным подъездам. Из экипажей поминутно выходили воздушные, как сильфиды, дамы, которые быстро исчезали в дверях, распространяя в воздухе тонкий, благоухающий запах фиалки, *ess-bouquet* и гелиотропа. В коридорах было почти так же жарко, как было сыро и холодно на улице. Там уже с трудом можно было двигаться. Львы и денди всех возможных возрастов и слоев общества, офицеры всех возможных полков, дамы, молоденькие и старые, в бальных нарядах, ливрейные лакеи и капельдинеры – все это двигалось взад и вперед, взбиралось по лестницам и хлопало дверьми лож и партера.

В зале, наводненной светом, было еще шумливее. Поминутно, то тут, то там, ряды лож унизывались хорошенькими женщинами, блиставшими своими нарядами, плечами и драгоценными каменьями. Хорошо было, что с первого взгляда доставлялась возможность верно судить о том, чем именно следовало любоваться; выставлялось только то, что действительно заслуживало внимания; здесь, при всем желании усмотреть что-нибудь другое, можно было видеть одну только профиль; тут показывалась на всеобщее удивление часть спины, от которой рябило в глазах и сладко вздрагивало сердце; там поражала чудная белизна руки с обнаженным локтем, который привлекательно лоснился на красном бархате перил. Иногда в той или другой ложе усаживалась в кресло ветхая фигура, представлявшая одну грудку драгоценных камней, которые блеском своим привлекали на минуту всеобщее внимание.

В глубине лож, не считая постоянных лиц, общество то и дело сменялось; множество мужчин, старых и молодых, со звездами и без звезд, статских и военных, желая до начала

представления воспользоваться свободным временем, спешили отдать свои визиты и пробирались из яруса в ярус. В качестве гостей в ложи являлись иногда мужья; повертевшись с минуту, они спешили исчезнуть, чтобы скорее занять свое место в креслах, – и оставляли за спиною жен изящнейших молодых людей, которым жены давали держать букет, бинокль, бросая на них украдкою нежные, выразительные взгляды.

В половине осьмого зала театра окончательно наполнилась; в партере не было уже свободного места. Начинали чувствоваться жар и духота; в разных концах раздавалось хлопанье и шумели ногами, требуя, чтобы скорее подняли занавес. Звуки инструментов, которые настраивали в оркестре, говор в ложах и креслах, шум шагов, хлопанье – все это заметно угомонилось, как только в оркестре появился капельмейстер.

В то же время в литерной ложе налево выставились вперед Слободской, князь Лиговской и Волынский, за спиною которого показалось сияющее бессмысленной веселостью лицо Свинцова.

Наконец грянул оркестр, проиграли увертюру, и при внезапно воцарившемся молчании подняли занавес. В зале сделалось свежее, точно пахнуло свежестью из роскошного тропического леса, изображенного на декорации.

Несмотря на величавые телодвижения индийского набоба, которого невольники принесли в паланкине, несмотря на изумительные прыжки вновь ангажированного бордоского танцора, — тишина в зале не прерывалась до той минуты, пока из-за кулисы не выбежала маленькая Фанни. Сигнал аплодисментам, поданный из литерной ложи налево, был тотчас же подхвачен в креслах и других частях залы, где рассажены были агенты Слободского. Каждое движение Фанни сопровождалось криками «браво» и хлопаньем; наконец, когда после не совсем удавшегося пируэта остановилась она и поклонилась публике, — к ногам ее упала целая дюжина букетов, брошенных из знакомой литерной ложи; в числе букетов особенно бросались в глаза два из белых камелий, стоимвшие пятьдесят рублей, — кто знает, может быть те самые

пятьдесят рублей, добытие которых произвело[8] целую драму в семействе старого Карпа из Антоновки...

Но не время ли нам остановиться, и здесь – именно здесь, а не в другом месте – окончить нашу повесть?

Нам, конечно, ничего бы не стоило описать, как Слободской и его общество отправились после спектакля на театральный подъезд, как веселились они на вечеру у m^{le} Emilie, как потом отправились все вместе ужинать к Борелю и как наконец, часу уже в третьем ночи, поехали всей гурьбой к цыганам; но веселое расположение автора вдруг изменило ему; он извиняется перед читателями, которые останутся недовольны таким резким окончанием, и скорее ставит точку.

1860



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

**«Strelbytsky
Multimedia Publishing»**

Saksaganskogo str., 58, office 8
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

**«Мультимедийное
издательство Стрельбицкого»**

ул. Саксаганского, 58, оф.8
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Электронная книга издана
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:
www.strelbooks.com **www.audio-book.com.ua**

Желаем приятного чтения!

Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Эта книга охраняется авторским правом

Copyright © 2015

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Примечания

Мирским полем называется часть земли, которая отрезывается крестьянам для посева хлеба, поступающего потом в так называемые магазины. Такой запас ржи и овса делается на случай неурожая, недостатка зерен для посева. В деревнях, где существует порядок, строго наблюдают, чтобы в магазине всегда находился запас зерен, который обеспечивал бы в случае несчастья все население деревни (прим. автора).

[^^^]

Так звали сына.

[^^^]

3

Карп помнил его очень хорошо.

[^^^]

Так звали место.

[^^^]

5

Так звали люблинского мельника.

[^^^]

6

Невозможно, кажется, подозревать примесь чего-нибудь иноземного.

[^^^]

Грум – здесь: конюх.

[^^^]

Если помнит читатель.

[^^^]